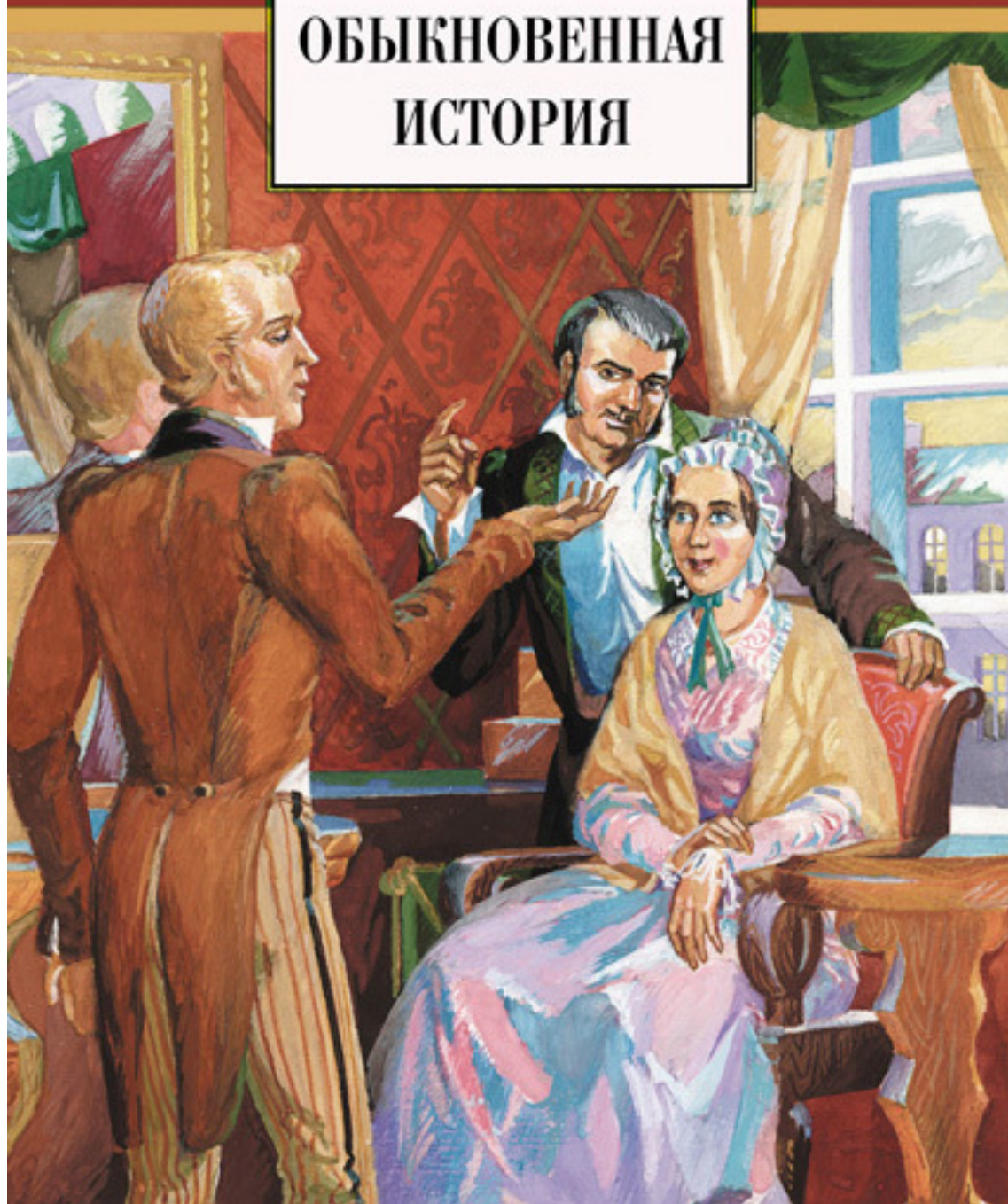


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



**И. А. Гончаров**  
**ОБЫКНОВЕННАЯ**  
**ИСТОРИЯ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Иван Гончаров

# **Обыкновенная история**

Издательство «Детская литература»

1847

УДК 821.161.1Гончаров-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

**Гончаров И. А.**

Обыкновенная история / И. А. Гончаров — Издательство  
«Детская литература», 1847 — (Школьная библиотека  
(Детская литература))

ISBN 5-08-004042-4

Роман И. А. Гончарова издается с его статьей «Лучше поздно, чем  
никогда» и с приложением: отрывком из статьи В. Г. Белинского  
«Взгляд на русскую литературу 1847 года» и Воспоминаниями об И.  
А. Гончарове» Г. Н. Потанина.

УДК 821.161.1Гончаров-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 5-08-004042-4

© Гончаров И. А., 1847  
© Издательство «Детская  
литература», 1847

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Иван Александрович Гончаров [1]   | 7  |
| Обыкновенная история              | 12 |
| Часть первая                      | 12 |
| I                                 | 12 |
| II                                | 25 |
| III                               | 52 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 65 |

# **Иван Александрович Гончаров**

## **Обыкновенная история**

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, составление, 2004.

© А. Кузнецов. Иллюстрации, 2004

Комментарии Е. А. Краснощековой



*I. A. Goncharov*

1812–1891

## **Иван Александрович Гончаров <sup>1</sup>** **Лучше поздно, чем никогда** **(Критические заметки)**

**(«Русская речь», 1879, № 6)**

Я давно положил перо и не печатал ничего нового. Так думал я и закончить свою литературную деятельность, полагая, что мое время прошло, а вместе с ним «прошли» и мои сочинения, то есть прошла их пора.

Я решился возобновить только издание очерков кругосветного плавания «Фрегат „Паллада“» по причинам, о которых сказано в предисловии к этому изданию. Путешествия в дальние концы мира имеют вообще привилегию держаться долее других книг. Всякое из них оставляет надолго неизгладимый след или колею, как колесо, пока дорога не проторится до того, что все колеи сольются в один общий широкий путь. Кругосветным путешествиям еще далеко до того.

Другое дело – романы и вообще художественные произведения слова. Они живут для своего века и умирают вместе с ним; только произведения великих мастеров переживают свое время и обращаются в исторические памятники.

Прочие, отслужив свою службу в данный момент, поступают в архив и забываются.

Я ожидал этой участи и для своих сочинений, после того как они выдержали – одни два, другие три издания, и не располагал, и теперь не имею в виду, печатать их вновь.

Но в публике, где еще много живых современников моей литературной деятельности, нередко вспоминают и о моих романах, иногда печатно, и очень часто в личных обращениях ко мне.

Одни осведомляются, отчего нет моих сочинений у книгопродавцев? Другие лестно упрекают меня, зачем я не пишу ничего нового, иногда даже предлагают написать о том или о другом предмете, на ту или другую тему, говоря, что от меня будто бы ожидают в публике еще какого-нибудь произведения. Третьи – и таких более всего – обращаются к собственному моему взгляду на то или другое из моих сочинений, требуют пояснений о том, что я разумел под тем, что хотел сказать этим; кого или что имел в виду, изображая такого-то героя или героиню, вымышлены ли эти лица и события, или действительно они были и т. д. Этим вопросам нет конца!

При этом, как это случалось почти со всеми писателями, стараются меня самого подводить под того или другого героя, отыскивая меня то там, то сям или угадывая те или другие личности в героях и героинях. Чаще всего меня видят в Обломове, любезно упрекая за мою авторскую лень и говоря, что я это лицо писал с себя. Иногда же, напротив, затруднялись, куда меня девать в каком-нибудь романе, например в дядю или племянника в «Обыкновенной истории».

Иные откровенно выражают мне и порицание за то, за другое, за третье, указывают слабые места, находят неверности или преувеличения и за все зовут меня к ответу. Еще недавно где-то я видел в печати беглый критический очерк моих сочинений.

А я все думал, что если я уже замолчал в печати сам, то и другие поговорят-поговорят, да и забудут меня с моими сочинениями, и потому на обращаемые ко мне вопросы отвечал,

---

<sup>1</sup> Текст статьи печатается по изданию: Гончаров И. А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Правда, 1972. Т. 6. (Статья печатается в сокращении.)

что приходило в голову под влиянием минуты, личности вопрошателя и других случайностей.

Но вопросы, осведомления, требования разъяснений и прочее не только не прекратились, но, напротив, с появлением нового издания «Фрегата „Паллада“» усилились. Поспешаю прибавить, что я не утомляюсь и не скушаю этим, напротив, принимаю как выражения лестного внимания. Меня только иногда затрудняют ответы, которые я должен держать всегда, так сказать, наготове, на адресуемые ко мне вопросы, причем, конечно, неизбежно приходится впадать в постоянные повторения.

Чтобы выйти из этого положения ответчика перед теми или другими читателями за свои сочинения и ходячего критика последних и раз навсегда разъяснить свой собственный взгляд на мои авторские задачи, я решился напечатать давно праздно лежавшую в моем портфеле нижеследующую рукопись.

Этот критический анализ моих книг возник из предисловия, которое я готовил было к отдельному изданию «Обрыва» в 1870 году, но тогда, по сказанным в этом очерке причинам, не напечатал. Потом в 1875 году я опять возвратился к нему, кое-что прибавил и опять отложил в сторону.

Теперь, пробегая его вновь, я нахожу, что он может служить достаточным, с моей стороны, разъяснением и ответом почти на все адресуемые ко мне с разных сторон, и лично и печатно, вопросы, иногда лестные, преувеличенные похвалы, чаще – порицания, недоразумения, упреки, – как относительно общего значения моих авторских задач, так относительно и действующих лиц, подробностей и т. д.

Я отнюдь не выдаю этот анализ своих сочинений за критический непреложный критерий, не навязываю его никому и даже предвижу, что во многом и многие читатели по разным причинам не разделят его. Сообщая его, я только желаю, чтоб они знали, как я смотрю на свои романы сам, и приняли бы его, как мой личный ответ на делаемые мне вопросы, так чтоб затем не оставалось уже о чем спрашивать меня самого.

Ежели читатели найдут этот мой ключ к моим сочинениям – неверным, то они вольны подбирать свой собственный. Если же бы, против моего ожидания, мне понадобилось издать вновь все мои сочинения, то этот же анализ может служить авторским предисловием к ним.

Я опоздал с этим предисловием, скажут мне: но если оно не покажется лишним и теперь – то «лучше поздно, чем никогда» – могу ответить на это.

<...>

Когда я писал «Обыкновенную историю», я, конечно, имел в виду и себя и многих подобных мне учившихся дома или в университете, живших по затишьям, под крылом добрых матерей, и потом – отрывавшихся от неги, от домашнего очага, со слезами, с проводами (как в первых главах «Обыкновенной истории») и являвшихся на главную арену деятельности, в Петербург.

И здесь – в встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим дядей – выразился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре – в Петербурге. Мотив этот – слабое мерцание сознания, необходимости *труда*, настоящего, не рутинного, а *живого дела* в борьбе с всероссийским застоєм.

Это отразилось в моем маленьком зеркале в среднем чиновничьем кругу. Без сомнения то же – в таком же духе, тоне и характере, только в других размерах, разыгрывалось и в других, и в высших и низших, сферах русской жизни.

Представитель этого мотива в обществе был дядя: он достиг значительного положения в службе, он директор, тайный советник, и, кроме того, он сделался и заводчиком. Тогда, от 20-х до 40-х годов – это была смелая новизна, чуть не *унижение* (я не говорю о заводчиках-барах, у которых заводы и фабрики входили в число родовых имений, были оброчные

статьи и которыми они сами не занимались). Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно.

В борьбе дяди с племянником отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старых понятий и нравов – сентиментальности, карикатурного преувеличения чувств дружбы и любви, поэзия праздности, семейная и домашняя ложь напускных, в сущности небывалых чувств (например, любви с *желтыми цветами* старой девы-тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостеприимство и т. д.

Словом, вся праздная, мечтательная и аффектационная сторона старых нравов с обычными порывами юности – к высокому, великому, изящному, к эффектам, с жаждой высказывать это в трескучей прозе, всего более в стихах.

Все это – отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезвого, делового, нужного.

Первое, то есть старое, исчерпалось в фигуре племянника – и оттого он вышел рельефнее, яснее.

Второе – то есть трезвое сознание необходимости дела, труда, знания – выразилось в дяде, но это сознание только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полного развития – и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-где, в отдельных лицах и маленьких группах, и фигура дяди вышла бледнее фигуры племянника.

*Наденька*, девушка, предмет любви Адуева, вышла также отражением своего времени. Она уже не безусловно покорная дочь перед волей каких бы ни было родителей. Мать ее слаба перед ней и едва в состоянии сохранять только *desoign*<sup>2</sup> авторитета матери, хотя и уверяет, что она *строга, даром что молчит* и что будто Наденька ни шагу *без нее не ступит*. Неправда, она сама чувствует, что слаба и слепа до того, что допускает отношения дочери и к Адуеву и к графу, не понимая, в чем дело.

Дочь несколькими шагами – впереди матери. Она *без спросу* полюбила Адуева и почти не скрывает этого от матери или молчит только для приличия, считая за собою право распоряжаться по-своему *своим внутренним миром* и самим Адуевым, которым, изучив его хорошо, овладела и командует. Это ее послушный раб, нежный, бесхарактерно-добрый, что-то обещающий, но мелко самолюбивый, простой, обыкновенный юноша, каких везде – легион. И она приняла бы его, вышла бы замуж – и все пошло бы обычным ходом.

Но явилась фигура графа, сознательно-умная, ловкая, с блеском. Наденька увидела, что Адуев не выдерживает сравнения с ним ни в уме, ни в характере, ни в воспитании. Наденька в своем быту не приобрела сознания ни о каких идеалах мужского достоинства, силы, и какой силы?

Тогда их и не было, этих идеалов, как не было никакой русской, самостоятельной жизни. Онегины и подобные ему – вот кто были идеалы, то есть франты, львы, презиравшие мелкий труд и не знавшие, что с собой делать!

Ее достало разглядеть только, что молодой Адуев – не сила, что в нем повторяется все, что она видела тысячу раз во всех других юношах, с которыми танцевала, немного кокетничала. Она на минуту прислушалась к его стихам. Писание стихов было тогда дипломом на интеллигенцию. Она ждала, что сила, талант кроются там. Но оказалось, что он только пишет сносные стихи, но о них никто не знает, да еще дуется про себя на графа за то, что этот прост, умен и держит себя с достоинством. Она перешла на сторону последнего: в этом пока и состоял *сознательный шаг русской девушки* – безмолвная эмансипация, протест против беспомощного для нее авторитета матери.

Но тут и кончилась эта эмансипация. Она *сознала*, но в *действие своего сознания не обратила*, остановилась в *неведении*, так как и самый момент эпохи был моментом неведе-

---

<sup>2</sup> Внешний вид (лат.).

ния. Никто еще не знал, что с собой делать, куда идти, что начать? Онегин и подобные ему «идеалы» только тосковали в бездействии, не имея определенных целей и дела, а Татьяны не ведали.

«Что же из этого будет? – в страхе спрашивает Наденьку Адуев, – граф не женится?»

«Не знаю!» – отвечает она в тоске. И действительно, не знала русская девушка, как поступить сознательно и рационально в том или другом случае. Она чувствовала только смутно, что ей можно и пора протестовать против отдачи *ее замуж родителями*, и только могла, бессознательно конечно, как Наденька, заявить этот протест, забрав одного и перейдя чувством к другому.

Тут я и оставил Наденьку. Мне она была больше не нужна как тип, а до нее, как до личности, мне не было дела.

И Белинский однажды заметил это. «Пока ему нужна она, до тех пор он с ней и возится! – сказал он кому-то при мне, – а там и бросит!»

А меня спрашивали многие, что же было с нею дальше? Почему я знаю? *Я рисовал не Наденьку, а русскую девушку известного круга той эпохи*, в известный момент. Сам я никакой одной Наденьки лично не знал или знал многих.

Мне скажут, что как ее, так и другие фигуры бледны – и типов собою не образуют: очень может быть – об этом я спорить не могу. Я только говорю, что сам под ними разумел.

В начале 40-х годов, когда задумывался и писался этот роман, я еще не мог вполне ясно глядеть в следующий период, который не наступал, но предчувствия которого жили уже во мне, потому что вскоре после напечатания, в 1847 году в «Современнике», «Обыкновенной истории» – у меня уже в уме был готов план *Обломова*, а в 1848 году (или 1849 году – не помню) я поместил в «Иллюстрированном сборнике» при «Современнике» и «Сон Обломова» – эту увертюру всего романа, следовательно, я переживал про себя в воображении и этот период и благодаря своей чуткости предчувствовал, что следует далее. Теперь могу отвечать, «что случилось с Наденькой».

Смотрите в «Обломове» – *Ольга* есть превращенная *Наденька* следующей эпохи. Но до этого дойдем ниже.

Адуев кончил, как большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать в службе, писал и в журналах (но уже не стихами) и, пережив эпоху юношеских волнений, достиг положительных благ, как большинство, занял в службе прочное положение и выгодно женился, словом, обделал свои дела. В этом и заключается «Обыкновенная история».

Она – в моих книгах – *первая галерея*, служащая преддверием к следующим двум *галереям* или *периодам* русской жизни, уже тесно связанным между собою, то есть к «Обломову» и «Обрыву», или к «Сну» и к «Пробуждению».

Мне могут заметить, что задолго перед этим намеки на подобные же отношения между лицами, как у меня в «Обломове» и «Обрыве», частью в «Обыкновенной истории», есть у нашего великого поэта Пушкина, например в Татьяне и Онегине, Ольге и Ленском и т. д.

На это я отвечу прежде всего, что от Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа пушкино-гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, только разрабатываем завещанный ими материал. Даже Лермонтов, фигура колоссальная, весь, как старший сын в отца, вылился в Пушкина. Он ступал, так сказать, в его следы. Его «Пророк» и «Демон», поэзия *Кавказа* и *Востока* и его романы – все это развитие тех образцов поэзии и идеалов, какие дал Пушкин. Я сказал в критическом этюде о Грибоедове, «Миллион терзаний», что Пушкин – отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов – отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках, как в Аристотеле крылись семена, зародыши и намеки почти на все последовавшие ветви знания и

науки. И у Пушкина и у Лермонтова веет один родственный дух, слышится один общий строй лиры, иногда являются будто одни образы, – у Лермонтова, может быть, более мощные и глубокие, но зато менее совершенные и блестящие по форме, чем у Пушкина. Вся разница в моменте времени. Лермонтов ушел дальше временем, вступил в новый период развития мысли, нового движения европейской и русской жизни и опередил Пушкина глубиной мысли, смелостью и новизной идей и полета.

Пушкин, говорю, был наш учитель – и я воспитался, так сказать, его поэзией. Гоголь на меня повлиял гораздо позже и меньше; я уже писал сам, когда Гоголь еще не закончил своего поприща.

Сам Гоголь объективностью своих образов, конечно, обязан Пушкину же. Без этого образца и предтечи искусства Гоголь не был бы тем Гоголем, каким он есть. Прелесть, строгость и чистота формы – те же. Вся разница в быте, в обстановке и в сфере действия, а творческий дух один, у Гоголя весь перешедший в отрицание.

Поэтому неудивительно, что черты пушкинской, лермонтовской и гоголевской творческой силы доселе входят в нашу плоть и кровь, как плоть и кровь предков переходит к потомкам.

Надо сказать, что у нас, в литературе (да, я думаю, и везде), особенно два главных образа женщин постоянно являются в произведениях слова параллельно, как две противоположности: характер положительный – пушкинская *Ольга* и идеальный – его же *Татьяна*. Один – безусловное, пассивное выражение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую форму. Другой – с инстинктами самосознания, самобытности, самостоятельности. Оттого первый ясен, открыт, понятен сразу (*Ольга* в «Онегине», *Варвара* в «Грозе»). Другой, напротив, своеобразен, ищет сам своего выражения и формы и оттого кажется капризным, таинственным, малоуловимым. Есть они у наших учителей и образцов, есть и у Островского в «Грозе» – в другой сфере; они же, смею прибавить, явились и в моем «Обрыве». Это два господствующие характера, на которые в основных чертах, с разными оттенками, более или менее делятся почти все женщины.

Дело не в изобретении новых типов – да коренных общечеловеческих типов и немного, – а в том, как у кого они выразились, как связались с окружающей их жизнью и как последняя на них отразилась.

Пушкинские *Татьяна* и *Ольга* как нельзя более отвечали своему моменту. Татьяна, подавленная своей грубой и жалкой средой, также бросилась к Онегину, но не нашла ответа и покорила своей участи, выйдя за генерала. Ольга вмиг забыла своего поэта и вышла за улана. Авторитет родителей решил их судьбу. Пушкин как великий мастер этими двумя ударами своей кисти, да еще несколькими штрихами, дал нам вечные образцы, по которым мы и учимся бессознательно писать, как живописцы по античным статуям. <...>

## Обыкновенная история *Роман в двух частях*

### Часть первая



#### I

Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялось с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Алесандр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суелись и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтоб не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне наконец, что у нас сегодня за суматоха?»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в доме, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и – что всего важнее для Евсея – первой ее ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай, теплый угол, прощай, Аграфена Ивановна, прощай, игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка – все прощай! Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суежилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и вместо того, чтоб первую чашку крепкого чая подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: «никому, дескать, не доставайся», и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валялись из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкафа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; всё не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаружился во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

– Аграфена Ивановна!.. – сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

– Ну, что ты, разиня, тут расселся? – отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. – Пусти прочь: надо полотенце достать.

– Эх, Аграфена Ивановна!.. – повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

– Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

– Аграфена! – раздалось вдруг из другой комнаты, – ты, никак, с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

– Не пошевелись для тебя, сиди, как мертвая! – прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.

– Прощайте, прощайте! – с громаднейшим вздохом сказал Евсей, – последний денек, Аграфена Ивановна!

– И слава Богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было ее за плечо – как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

– Кто-то сядет на мое место? – промолвил он, все со вздохом.

– Леший! – отрывисто отвечала она.

– Дай-то Бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

– Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? – со злостью заметила она.

Евсей встал.

– Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте! – сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

– А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

– Матушка, Аграфена Ивановна! – начал он умоляющим голосом, обняв ее – за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намек на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

– Матушка, Аграфена Ивановна! – повторил он, – будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крикнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: у ней наконец горе обнаружилось в слезах.

– Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? – говорила она плача, – что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами...

– И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы небось не скажете! Я бы его...

– Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно – свинья свиньей! Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук – и не увидишь.

– Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет – лукавый ведь силен, – так лучше Гришку посадите тут: по крайности малый смирный, работающий, не зубоскал...

– Вот еще выдумал! – накинулась на него Аграфена, – что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, таким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

– Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! – воскликнул Евсей.

– Обрадовался! – зверски закричала она опять, – есть чему радоваться – радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

– Аграфена Ивановна! – робко сказал Евсей немного погодя.

– Ну, что еще?

– Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

– Только и дела!

– С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкафа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

– На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седелке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

– Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? – сказала она. – Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек: так и не наглажусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь, как корова! я лучше сама...

И пошла.

– Поди-ка ты, не корова! – ворчала Аграфена, воротясь к себе. – Вишь, корову нашла! много ли у тебя таких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек, в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

– Что это ты, мой дружок, как заспался, – сказала Анна Павловна, – даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой.

– Нет, маменька, не надо.

– Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде – чего хочешь?

– Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

– Саша!.. – сказала она через несколько времени.

– Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

– Куда ты едешь, мой друг, зачем? – спросила она наконец тихим голосом.

– Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем... чтоб...

– Послушай, Саша, – сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, – еще время не ушло: подумай, останься!

– Остаться! как можно! да ведь и... белье уложено, – сказал он, не зная, что выдумать.

– Уложено белье! да вот... вот... вот... гляди – и не уложено.

Она в три приема вынула все из чемодана.

– Как же это так, маменька? собрался – и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

– Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марьи Карповны, Сонюшка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка – дай Бог ей здоровья, – любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

– Вот, маменька, что вы! она так...

– Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки – «я, говорит, сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», – видишь, чего же еще тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока.

– Что ты найдешь в Петербурге? – продолжала она. – Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь? Э, мой друг! Бог знает, чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду – все перенесешь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь. А почет – что в деревне, что в столице – все тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всем так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы Бог тебе деточек, а я бы нянчила их – и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, – а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

– А посмотри-ка сюда, – продолжала она, отворяя дверь на балкон, – и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

– Погляди-ка, – говорила она, – какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь все это твое, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепие! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя кишат: и на себя и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи... Останься!

Он молчал.

– Да ты не слушаешь, – сказала она. – Куда это ты так пристально загляделся?

Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами.

– Так вот что! – проговорила она наконец уныло. – Ну, мой друг, Бог с тобой! поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

Бедная мать! вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету – голова старушки трясется от радости, она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок, большею частью, и не думает поделиться славой с родительницею. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец, отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними – тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь от пелен ему улыбалась: мать лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо; нянька все пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессеры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот, Васька, был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно – он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их; слышались смешанные звуки – то голос славы, то любви: все это приводило его в сладкий трепет.

Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки – все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькою любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстиралось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

Как же ему было остаться? Мать желала – это опять другое и очень естественное дело. В сердце ее отжили все чувства, кроме одного – любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; все будет зависеть от материала, который волеешь в нее.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе – словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять все это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще?

Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал ее за вторичным укладываньем белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

– Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, – говорила она. – В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

– Так, маменька.

– Все с твоими метками, видишь – А. А. А все голубушка Сонюшка! Без нее наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, две, три, четыре – так, вся дюжина тут. Вот рубашки – три дюжины. Что за полотно – загляденье! это голландское; сама ездила на фабрику к Василью Васильичу; он выбрал что ни есть наилучшие три куска. Поверяй же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новешенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменят; есть ведь такие мерзавки, что Бога не боятся. Носков двадцать две пары... Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так, сохрани Боже! случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу: то-то, чай, обрадуется! ведь семнадцать лет и словом не перекинулись, шутка ли! Вот косыночки, вот платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков: славный полубатист!

У Михеева брала по два с четвертью. Ну, белье все. Теперь платье... Да где Евсей? что он не смотрит? Евсей!

Евсей лениво вошел в комнату.

– Чего изволите? – спросил он еще ленивее.

– Чего изволите? – заговорила Адуева гневно. – Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдешь все перерывать вверх дном! Не может отвызаться от своей возлюбленной – экое сокровище! День-то велик: успеешь! Ты этак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня! Вот гляди: это хороший фрак – видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его, не всякий день таскай; сукно-то по шестнадцать рублей брали. Куда в хорошие люди пойдешь, и надень, да не садись зря, как ни попало, вон как твоя тетка, словно нарочно, не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуться туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое; намедни на тарелку с вареньем села – такого сраму наделала! Куда попроще в люди, вот этот фрак масака надевай. Теперь жилеты – раз, два, три, четыре. Двое брюк. Э! да платья-то года на три станет. Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! Поди, Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Ужо гости приедут, не до того будет.

Она села на диван и посадила его подле себя.

– Ну, Саша, – сказала она, помолчав немного, – ты теперь едешь на чужую сторону...

– Какая «чужая» сторона, Петербург: что вы, маменька!

– погоди, погоди – выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты нагладишься, и хорошего и худого. Надеюсь, Он, Отец мой Небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуще всего не забывай Его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь – ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор, – все-таки смирайся перед Господом Богом; молись и в счастии и в несчастьи, а не по пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Иной, пока везет ему, и в церковь не заглянет, а как придет невмочь – и пойдет рублевые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех. К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег попустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; Бог подаст! Будешь ли ты посещать храм Божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?

Она вздохнула.

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула.

– Ну, я тебя не неволю, – продолжала она, – ты человек молодой: где тебе быть так усердну к церкви Божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровье, и чинов, и крестов, и небесных и земных благ. Неужели-то Он, Милосердный Отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними Он у меня все: здоровье, жизнь, пошли слепоту – тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слезы закапали у ней из глаз. Александр вскочил с места.

– Маменька... – сказал он.

– Ну, сядь, сядь! – отвечала она, наскоро утирая слезы, – мне еще много осталось поговорить... Что бишь я хотела сказать? из ума вон... Вишь, нынче какая память у меня... да! блюди посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу – Бог простит; а в Великий пост – Боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что Страстная неделя – все одно жрет. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то Бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого.

Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю дорогу. Она замолчала на минуту.

– Береги пуще всего здоровье, – продолжала она. – Как заболеешь – чего Боже оборони! – опасно, напиши... я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удаляйся. Береги деньги... ох, береги на черный день! Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Две тысячи пятьсот рублей не шутка! Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе в чем можно; захочется полакомиться – не скупись. Не предавайся вину – ох, оно первый враг человека! Да еще (тут она понизила голос) берегись женщин! Знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят этакого-то...

Она с любовью посмотрела на сына.

– Довольно, маменька; я бы позавтракал? – сказал он почти с досадой.

– Сейчас, сейчас... еще одно слово...

– На мужних жен не зарься, – спешила она досказать, – это великий грех! «Не пожелай жены ближнего твоего» – сказано в Писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться – Боже сохрани! не моги и подумать. Они готовы подцепить, как увидят, что с денешками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы и он захочет выдать за тебя дочь – ну, тогда можно, только отпиши: я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунули так какую-нибудь, лишь бы с рук сбыть: старую девку или дрянь. Этакого женишка всякому лестно залучить. Ну, а коли ты сам полюбишь да выдастся хорошая девушка – так того... – тут она еще тише заговорила... – Сонюшку-то можно и в сторону. (Старушка, из любви к сыну, готова была покривить душой.) Что, в самом деле, Марья Карповна замечтала! ты дочке ее не пара. Деревенская девушка! на тебя и не такие польстятся.

– Софью! нет, маменька, я ее никогда не забуду! – сказал Александр.

– Ну, ну, друг мой, успокойся! ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда что Бог даст; невесты не уйдут! Коли не забудешь, так и того... Ну, а...

Она что-то хотела сказать, но не решалась, потом наклонилась к уху его и тихо спросила:

– А будешь ли помнить... мать?

– Вот до чего договорились, – перервал он, – велите скорей подавать что там у вас есть: яичница, что ли? Забыть вас! Как могли вы подумать? Бог накажет меня...

– Перестань, перестань, Саша, – заговорила она торопливо, – что ты это накликаешь на свою голову! Нет, нет! что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься – молодая жена заменит тебе и мать, и все... Нет! пусть благословит тебя Бог, тебя благословляю.

Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления.

– Да что это не едет никто? – сказала она, – ни Марья Карповна, ни Антон Иванович, ни священник нейдет? уж, чай, обедня кончилась! Ах, вон кто-то и едет! кажется, Антон Иванович... так и есть: легок на помине.

Кто не знает Антона Ивановича? Это вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына.

У нас, на Руси, он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков: у него душ двадцать заложённых и перезаложённых; живет он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар, – ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня; но он лет двадцать постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйства он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. Прежде Антон Иванович ходил в широких шароварах и казакине, теперь ходит, в будни, в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке Бог знает какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами; но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас: это так заведено у людей.

В сущности, Антона Ивановича никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд: ни свадьба, ни похороны. Он на всех званных обедах и вечерах, на всех домашних советах; без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен, что там исполнит какое-нибудь важное поручение, тут даст хороший совет, обработает дельце, – вовсе нет! Ему никто ничего подобного не поручает; он ничего не умеет, ничего не знает: ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем, – ровно ничего.

Но зато ему поручают, например, завезти мимоездом поклон от такой-то к такому-то, и он непременно завезет и тут же кстати позавтракает, – уведомить такого-то, что известная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят, – передать туда-то кадочку с медом или горсточку семян, с наказом не разлить и не рассыпать, – напомнить, когда кто именинник. Еще Антона Ивановича употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать, – говорят, – того и гляди, переверт. Нет, уж пусть лучше Антон Иванович съездит!» Или: «Неловко послать человека: такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антона Ивановича отправить».

Как бы удивило всех, если б его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере!

– А где же Антон Иванович? – спросил бы всякий непременно с изумлением. – Что с ним? да почему его нет?

И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатом проведать, что с ним, не заболел ли, не уехал ли? И если он болен, то и родного не порадуют таким участием.

Антон Иванович подошел к руке Анны Павловны.

– Здравствуйте, матушка Анна Павловна! с обновкой честь имею вас поздравить.

– С какой это, Антон Иванович? – спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы.

– А мостик-то у ворот! видно, только что сколотили? что, слышу, не пляшут доски под колесами? смотрю, ан новый!

Он при встречах с знакомыми всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь, или с постом, или с весной, или с осенью; если после оттепели мороз наступит, так с морозом, наступит после морозу оттепель – с оттепелью...

На этот раз ничего подобного не было, но он что-нибудь да выдумает.

– Вам кланяются Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петр Сергеич, – сказал он.

– Покорно благодарю, Антон Иванович! Детки здоровы ли у них?

– Слава Богу. Я к вам веду благословение Божие: за мной следом идет батюшка. А слышали ли, сударыня: наш-то Семен Архипыч?..

– Что такое? – с испугом спросила Анна Павловна.

– Ведь приказал долго жить!

– Что вы! когда?

– Вчера утром. Мне к вечеру же дали знать: прискакал парнишко; я и отправился, да всю ночь не спал. Все в слезах: и утешать-то надо, и распорядиться: там у всех руки опустились: слезы да слезы, – я один.

– Господи, Господи Боже мой! – говорила Анна Павловна, качая головой, – жизнь-то наша! Да как же это могло случиться? он еще на той неделе с вами же поклон прислал!

– Да, матушка! ну, да он давненько прихварывал, старик старый: диво, как до сих пор еще не свалился!

– Что за старый! он годом только постарше моего покойника. Ну, Царство ему Небесное! – сказала, крестясь, Анна Павловна. – Жаль бедной Федосьи Петровны: осталась с деточками на руках. Шутка ли: пятеро, и всё почти девочки! А когда похороны?

– Завтра.

– Видно, у всякого свое горе, Антон Иванович; вот я так сына провожаю.

– Что делать, Анна Павловна, все мы человеки! «Терпи» – сказано в Священном Писании.

– Уж не погневайтесь, что потревожила вас – вместе размыкать горе; вы нас так любите, как родной.

– Эх, матушка Анна Павловна! да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете. Хлопот полон рот: тут и своя стройка вертится на уме. Вчера еще бился целое утро с подрядчиком, да все как-то не сходимся... а как, думаю, не поехать?.., что она там, думаю, одна-то, без меня станет делать? человек не молодой: чай, голову растеряет.

– Дай Бог вам здоровья, Антон Иванович, что не забываете нас! И подлинно сама не своя: такая пустота в голове, ничего не вижу! в горле совсем от слез перегорело. Прошу закусить: вы и устали и, чай, проголодались.

– Покорно благодарю-с. Признаться, мимоездом пропустил маленькую у Петра Сергеича да перехватил кусочек. Ну, да это не помешает. Батюшка подойдет, пусть благословит! А вот он и на крыльце!

Пришел священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной и румяной девушкой, с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выражение лица Софьи явно говорили: «Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда не казаться умнее его; да и как можно быть умнее мужа? это грех! Стану прилежно заниматься хозяйством, шить; рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать». Полнота и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещание насчет детей. Но слезы на глазах и грустная улыбка придавали ей в эту минуту не такой прозаический интерес.

Прежде всего отслужили молебен, причем Антон Иванович созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, а потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: «Это Агафье Никитишне». Сели за стол. Кроме Антона Ивановича и священника, никто, по обыкновению, не дотронулся ни до чего, но зато Антон Иванович сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна все плакала и украдкой утирала слезы.

– Полно вам, матушка Анна Павловна, слезы-то тратить! – сказал Антон Иванович с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. – Что вы его, на убой, что ли, отправляете? – Потом, выпив до половины рюмку, почавкал губами.

– Чго за наливка! какой аромат пошел! Этакой, матушка, у нас и по губернии-то не найдешь! – сказал он с выражением большого удовольствия.

– Это тре... те... годнич... ная! – проговорила, всхлипывая, Анна Павловна, – нынче для вас... только... откупорила.

– Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно, – начал опять Антон Иванович, – вот некому бить-то вас; бил бы да бил!

– Сами посудите, Антон Иванович, один сын, и тот с глаз долой: умру – некому и похоронить.

– А мы-то на что? что я вам, чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? того гляди, замуж бы не вышли! вот бы поплясал на свадьбе! Да полноте плакать-то!

– Не могу, Антон Иванович, право, не могу; не знаю сама, откуда слезы берутся.

– Этакого молодца взаперти держать! Дайте-ка ему волю, он расправит крылышки, да вот каких чудес наделает: нахватает там чинов!

– Вашими бы устами да мед пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите еще!

– Возьму-с: вот только этот кусок съем. За ваше здоровье, Александр Федорыч! счастливого пути! да возвращайтесь скорее; да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?

– Я ничего... я так...

– Ох, молодежь, молодежь! хе, хе, хе!

– С вами горя не чувствуешь, Антон Иванович, – сказала Анна Павловна, – так умеете утешить; дай Бог вам здоровья! Да выкушайте еще наливочки.

– Выпью, матушка, выпью, как не выпить на прощанье.

Кончился завтрак. Ямщик уже давно заложил повозку. Ее подвезли к крыльцу. Люди выбегали один за другим. Тот нес чемодан, другой – узел, третий – мешок, и опять уходил за чем-нибудь. Как мухи сладкую каплю, люди облепили повозку, и всякий совался туда с руками.

– Вот так лучше положить чемодан, – говорил один, – а тут бы коробок с провизией.

– А куда же они ноги денут? – отвечал другой, – лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить.

– Так тогда перина будет скатываться, коли чемодан вдоль: лучше поперек. Что еще? уклали ли сапоги-то?

– Я не знаю. Кто укладывал?

– Я не укладывал. Поди-ка погляди – нет ли там наверху?

– Да поди ты.

– А ты что? мне, видишь, некогда!

– Вот еще, вот это не забудьте! – кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком.

– Давай сюда!

– Суньте и это как-нибудь в чемодан, давеча забыли, – говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку.

– Куда теперь совать? – сердито закричал на нее дородный лакей, – пошла ты прочь! видишь, чемодан под самым низом!

– Барыня велела; мне что за дело, хоть брось! вишь, черти какие!

– Ну, давай, что ли, сюда скорее; это можно вот тут сбоку в карман положить.

Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а пристяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивали

вались хвостами или протягивали нижнюю губу к коренной лошади. Наконец настала роковая минута. Помолвились еще.

– Сядьте, сядьте все! – повелевал Антон Иванович, – извольте сесть, Александр Федорыч! и ты, Евсей, сядь. Сядь же, сядь! – И сам боком, на секунду, едва присел на стул. – Ну, теперь с Богом!

Вот тут-то Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру.

– Прощай, прощай, мой друг! – слышалось среди рыданий, – увижу ли я тебя?..

Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту послышался звук другого колокольчика: на двор влетела телега, запряженная тройкой. С телеги соскочил, весь в пыли, какой-то молодой человек, вбежал в комнату и бросился на шею Александру.

– Пospelов!.. – Адуев!.. – воскликнули они враз, тиская друг друга в объятиях.

– Откуда ты, как?

– Из дому, нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой.

– Друг! друг! истинный друг! – говорил Адуев со слезами на глазах. – За сто шестьдесят верст прискакать, чтоб сказать «прости»! О, есть дружба в мире! Навек, не правда ли? – говорил пылко Александр, стискивая руку друга и насакивая на него.

– До гробовой доски! – отвечал тот, тиская руку еще сильнее и насакивая на Александра.

– Пиши ко мне!

– Да, да, и ты пиши!

Анна Павловна не знала, как и обласкать Пospelова. Отъезд замедлился на полчаса. Наконец собрались.

Все пошли до рощи пешком. Софья и Александр в то время, когда переходили темные сени, бросились друг к другу.

– Саша! Милый Саша!.. – Сонечка!.. – шептали они, и слова замерли в поцелуе.

– Вы забудете меня там? – сказала она слезливо.

– О, как вы меня мало знаете! я ворочусь, поверьте, и никогда другая...

– Вот возьмите скорей, это мои волосы и колечко.

Он проворно спрятал и то и другое в карман.

Впереди пошли Анна Павловна с сыном и с Пospelовым, потом Марья Карповна с дочерью, наконец священник с Антоном Ивановичем. В некотором отдалении ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея.

– Прощай, Евсей Иванович, прощай, голубчик, не забывай нас! – слышалось со всех сторон.

– Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихом!

– Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! – говорила мать, обнимая его, – вот тебе образок; это мое благословение. Помни веру, Евсей, не уйди там у меня в бусурманы! а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину верой и правдой. Прощай, прощай!..

Она закрыла лицо фартуком и отошла.

– Прощай, матушка! – лениво проворчал Евсей. К нему бросилась девчонка лет двенадцати.

– Простись с сестренкой-то! – сказала одна баба.

– И ты туда же! – говорил Евсей, целуя ее, – ну, прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, в избу!

Отдельно от всех, последняя стояла Аграфена. Лицо у нее позеленело.

– Прощайте, Аграфена Ивановна! – сказал протяжно, возвысив голос, Евсей и протянул к ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвечала на объятие; только лицо ее искривилось.

– На, вот тебе! – сказала она, вынув из-под передника и сунув ему мешок с чем-то. – То-то, чай, там с петербургскими-то загуляешь! – прибавила она, поглядев на него искоса. И в этом взгляде выразилась вся тоска ее и вся ревность.

– Я загуляю, я? – начал Евсей. – Да разрази меня на этом месте Господь, лопни мои глаза! чтоб мне сквозь землю провалиться, коли я там что-нибудь этакое...

– Ладно! ладно! – недоверчиво бормотала Аграфена, – а сам-то – у!

– Ах, чуть не забыл! – сказал Евсей и достал из кармана засаленную колоду карт. – Натe, Аграфена Ивановна, вам на память; ведь вам здесь негде взять.

Она протянула руку.

– Подари мне, Евсей Иваныч! – закричал из толпы Прошка.

– Тебе! да лучше сожгу, чем тебе подарю! – и он спрятал карты в карман.

– Да мне-то отдай, дурачина! – сказала Аграфена.

– Нет, Аграфена Ивановна, что хотите делайте, а не отдам: вы с ним станете играть. Прощайте!

Он, не оглянувшись, махнул рукой и лениво пошел вслед за повозкой, которую бы, кажется, вместе с Александром, ямщиком и лошадьми мог унести на своих плечах.



– Проклятый! – говорила Аграфена, глядя ему вслед и утирая концом платка капавшие слезы.

У рощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иваныч потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула.

– Подтяни подпругу у коренной-то, – сказал он ямщику, – вишь, седелка-то на боку!

Ямщик посмотрел на седелку и, увидев, что она на своем месте, не тронулся с козел, а только кнутом поправил немного шлею.

– Ну, пора, Бог с вами! – говорил Антон Иванович, – полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя! А вы садитесь, Александр Федорыч; вам надо засветло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай Бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества!!! Ну, с Богом, трогай лошадей, да смотри там косогором-то легче поезжай! – прибавил он, обращаясь к ямщику.

Александр сел, весь расплаканный, в повозку, а Евсей подошел к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал у ней руку. Она дала ему пятирублевую ассигнацию.

– Смотри же, Евсей, помни: будешь хорошо служить, женю на Аграфене, а не то...

Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил; он прижал шапку, поправился на месте и поднял вожжи; лошади тронулись сначала легкой рысью. Он хлестнул пристяжных разом одну за другой, они скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дороге в лес. Толпа провожавших осталась в облаке пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсем из глаз. Антон Иванович опомнился первый.

– Ну, теперь по домам! – сказал он. Александр смотрел, пока можно было, из повозки назад, потом упал на подушки лицом вниз.

– Не оставьте вы меня, горемычную, Антон Иванович! – сказала Анна Павловна, – отобедайте здесь!

– Хорошо, матушка, я готов, пожалуй, и отужинаю.

– Да вы бы уж и ночевали.

– Как же: завтра похороны!

– Ах, да! Ну, я вас не неволю. Кланяйтесь Федосье Петровне от меня, скажите, что я душевно огорчена ее печалью и сама бы навестила, да вот Бог, дескать, и мне послал горе – сына проводила.

– Скажу-с, скажу, не забуду.

– Голубчик ты мой, Сашенька! – шептала она, оглядываясь, – и нет уж его, скрылся из глаз!

Адуева просидела целый день молча, не обедала и не ужинала. Зато говорил, обедал и ужинал Антон Иванович.

– Где-то он теперь, мой голубчик? – скажет только она иногда.

– Уж теперь должен быть в Неплюеве. Нет, что я вру? еще не в Неплюеве, а подъезжает; там чай будет пить, – отвечает Антон Иванович.

– Нет, он в это время никогда не пьет.

И так Анна Павловна мысленно ехала с ним. Потом, когда он, по расчетам ее, должен был уже приехать в Петербург, она то молилась, то гадала в карты, то разговаривала о нем с Марьей Карповной.

А он?

С ним мы встретимся в Петербурге.

## II

Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же, как и этот, двадцати лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там безвыездно семнадцать лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни.

В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может быть, не без причины; служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака; жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а что называется «мужчина в самой поре» – между

тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах, не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере, в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу.

Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина, с крупными, правильными чертами смугло-матового лица, с ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют *bel homme*<sup>3</sup>.

В лице замечалась – также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно – и для себя и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным: нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нем следы усталости – должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом; белье носил отличное; руки у него были полны и белы, ногти длинные и прозрачные.

Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, человек, вместе с чаем, принес ему три письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который называл себя Александром Федорычем Адуевым, а его – Петра Ивановича – дядей и обещался зайти часу в двенадцатом.

Петр Иванович, по обыкновению, выслушал это известие покойно, только немного наострил уши и поднял брови.

– Хорошо, поди, – сказал он слуге.

Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался.

– Племянник из провинции – вот сюрприз! – ворчал он, – а я надеялся, что меня забыли в том краю! Впрочем, что с ними церемониться! отделаюсь...

Он опять позвонил.

– Скажи этому господину, как придет, что я, вставши, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца.

– Слушаю-с, – отвечал слуга, – ас гостинцами что прикажете делать?

– С какими гостинцами?

– Привез их человек: барыня, говорит, деревенских гостинцев прислала.

– Гостинцев?

– Да-с: кадочка меду, мешок сушеной малины... Петр Иванович пожал плечами.

– Еще два куска полотна, да варенье...

– Воображаю, хорошо должно быть полотно...

– Полотно хорошее и варенье сахарное.

– Ну, поди, я посмотрю сейчас.

Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. Точно крупная славянская грамота: букву *в* заменяли две перечеркнутые сверху и снизу палочки, а букву *к* просто две палочки; писано без знаков препинания.

Адуев стал читать вполголоса:

«М. г. Петр Иванович! Будучи с покойным Вашим родителем коротко знакомы и приятели, да и Вас самих в детстве тешил немало и в доме Вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю уверительную надежду на Ваше усердие и благорасположение, что не забыли старика, Василья Тихоныча, а мы Вас здесь и родителей Ваших всячески добром поминаем и Бога молим...»

---

<sup>3</sup> Представительный человек (*фр.*).

– Что за дичь? от кого это? – сказал Петр Иванович, поглядев на подпись. – Василий Заезжалов! Заезжалов – хоть убей – не помню. Чего он хочет от меня?

И стал читать дальше:

«А моя покорнейшая просьба и докука к Вам – не откажите, батюшка... Вам в Петербурге не то, что нам, здешним, чай, все известно и все свое да родное. Навязалось на меня проклятое тяжёбное дело, да вот седьмой год и с шеи не могу спихнуть: изволите помнить лешишко, что в двух верстах от моей деревушки? Палата сделала ошибку в купчей, а противник мой, Медведев, и уперся на нее: пункт, говорит, фальшивый, да и только. Медведев тот самый, что в Ваших дачах все без спросу рыбу ловил; покойник батюшка Ваш гонял его и срамил, хотел на своеволие и губернатору жаловаться, да по доброте, дай Бог ему Царствие Небесное, спускал, а не надо бы щадить этакого злодея. Помогите, батюшка, Петр Иванович; дело теперь в Правительствующем сенате; не знаю там, в каком департаменте, и у кого, да Вам, чай, сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу, скажите, что от ошибки, истинно от ошибки в купчей страдаю: для Вас всё сделают. Там же уж, кстати, выхлопочите мне патенты на три чина да пришлите ко мне. Еще, батюшка, Петр Иванович, есть дельцо до Вас крайней потребности: взойдите в сердечное участие к безвинно угнетенному страдальцу и помогите советом и делом. Есть у нас в губернском правлении советник Дрожжов, золото, а не человек; умрет, а своего не выдаст; в городе другой квартиры не знаю, как у него, – как приеду, прямо к нему, живу по неделям – и Боже сохрани – подумать у другого остановиться, закормит, запоит; а бостончик от обеда до глубокой ночи. И этакого-то человека обнесли и ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там, внушите им, какой человек Афанасий Иванович: дело ли делать – так и кипит в руках; скажите, что донос, дескать, на него сделан фальшиво, по проискам губернаторского секретаря, – Вас послушают, и отпишут с первой почтой ко мне. Да повидайтесь со старинным моим сослуживцем, Костяковым. Я слышал от одного приезжего, Студеницына, Вашего же петербургского – чай, изволите знать, – что он живет на Песках; там ребятишки укажут дом; отпишут с той же почтой, не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня? Познакомьтесь и подружитесь с ним: прекрасный человек – душа нараспашку, и балагур такой. Кончаю письмецо еще просьбицей...»

Адуев перестал читать, медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в корзинку, потом потянулся и зевнул.

Он взял другое письмо и начал читать также вполголоса:

«Любезный братец, милостивый государь, Петр Иванович!»

– Это что за сестрица! – сказал Адуев, глядя на подпись: – Марья Горбатова... – Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то...

– Что бишь это такое? что-то знакомое... ба, вот прекрасно – ведь брат женат был на Горбатовой; это ее сестра, эта та... а! помню...

Он нахмурился и стал читать:

«Хотя рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами; прошли года...»

Он пропустил несколько строчек и читал далее:

«По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляючи около нашего озера, Вы, с опасностью жизни и здоровья, влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой желтый цветок, как из стебелька оно тек какой-то сок и перемарал нам руки, а Вы почерпнули картузом воду, дабы мы могли их вымыть; мы очень много тогда этому смеялись. Как я была тогда счастлива! Сей цветок и ныне хранится в книжке...»

Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; он даже недоверчиво покачал головой.

«А цела ли у Вас та ленточка (продолжал он читать), что Вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления...»

– Я вытащил ленточку! – сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав, пропустил еще несколько строк и читал:

«А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливою; никто не запретит вспоминать сии блаженные времена...»

«А, старая девка! – подумал Петр Иванович. – Немудрено, что у ней еще желтые цветы на уме! Что там еще?»

«Женаты ли Вы, любезнейший братец, и на ком? Кто та милая подруга, украсившая собой путь Вашего бытия, назовите мне ее; я буду ее любить, как родную сестру, и в мечтах соединять образ ее с Вашим, буду молиться. А если не женаты, то по какой причине – напишите откровенно: Ваших тайн никто у меня не прочтет, я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите; сгораю нетерпением читать Ваши неизъяснимые строки...»

«Нет, вот твои так неизъяснимые строки!» – подумал Петр Иванович.

«Я не знала (читал он), что милый наш Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу, – счастливец! увидит прекрасные дома и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмет к своей груди обожаемого дядю, – а я, я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышила бы для Вас подушку: арап с двумя собаками; Вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор: что может быть святее дружбы и верности?.. Теперь меня занимает сия одна мысль; ей посвящу дни свои, но не имею здесь хорошей шерсти, и потому покорнейше прошу, любезнейший братец, выслать, вот по этим образчикам, что я тут вложила, что ни есть наилучшей английской шерсти, в самом скором времени, из первого магазина. Но что я говорю? какая ужасная мысль останавливает перо мое! может быть, уже Вы забыли нас, и где Вам помнить бедную страдалицу, которая удалилась от света и льет слезы? Но нет! я не могу подумать, чтоб Вы могли быть извергом, как все мужчины: нет! мне сердце говорит, что Вы сохранили к нам ко всем прежние чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы. Сия мысль служит бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, не могу более продолжать, рука моя дрожит...»

Остаюсь по гроб Ваша

*Марья Горбатова.*

Р. S. Нет ли, братец, у Вас хороших книжек? пришлите, если Вам не нужно: я бы на каждой странице вспоминала Вас, плакала бы, или возьмите

в лавке новых, коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина и господина Марлинского<sup>4</sup>, – хоть их; а то я еще видела в газетах заглавие – „О предрассудках“, соч. г-на Пузины – пришлите, – я терпеть не могу предрассудков».

Прочитав, Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился.

«Нет, – подумал он, – сберегу: есть охотники до таких писем; иные собирают целые коллекции, – может быть, случится одолжить кого-нибудь».

Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене, потом взял третье письмо и начал читать:

«Любезнейший мой деверёк Петр Иванович! Помните ли, как семнадцать годков тому назад мы справляли Ваш отъезд? Вот привел Бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него да вспомните покойника, нашего голубчика Федора Ивановича: ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпело мое материнское сердце, отпуская его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к Вам: не велела нигде приставать, кроме Вас...»

Адуев опять покачал головой.

– Глупая старуха! – проворчал он и читал:

«Он, пожалуй, по неопытности остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить родного дядю, и внушила взъехать прямо к Вам. То-то будет у Вас радости при свидании! Не оставьте его, любезный деверёк, вашими советами и возьмите на свое попечение; передаю его Вам с рук на руки».

Петр Иванович опять остановился.

«Ведь Вы там один у него (читал он потом). Присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, да и не изыскивайте очень строго: взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего; он же сам такой ласковый: Вы только увидите его, так и не отойдете. И начальнику-то, у которого он будет служить, скажите, чтобы берег моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего: он у меня был нежненький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, – ведь вы, я чай, в одной комнате будете спать, – Сашенька привык лежать на спине: от этого, сердечный, больно стонет и мечется; Вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчас и пройдет, а летом покрывайте ему рот платочком: он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставьте его также в случае нужды и деньгами...»

Адуев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда он прочел далее:

«А я вышлю, что понадобится, да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только чтоб он не тратил их на пустяки, да чтоб у него подлипалы не выманили, ведь там у вас, в столице, слышь, много мошенников и всяких бессовестных людей. А затем простите, дорогой деверь, – совсем отвыкла писать.

Остаюсь душевно почитающая вас невестка

---

<sup>4</sup> ...сочинения господина Загоскина и господина Марлинского... – М. Н. Загоскин (1789–1852) – романист и драматург. Марлинский – литературный псевдоним декабриста А. А. Бестужева (1797–1837). В 1830-е годы был популярным прозаиком.

*А. Адуева.*

Р. S. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев – малинки из своего сада, белого медку – чистый, как слеза, – полотна голландского на две дюжины рубашек да домашнего вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут – еще пришлю. Присмотрите и за Евсеем: он смирный и непьющий, да, пожалуй, там, в столице, избалуется, – тогда можно и посечь».

Петр Иванович медленно положил письмо на стол, еще медленнее достал сигару и, показав ее в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он называл ее мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому.

Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно и не любит, а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей: надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнью, – за что же он, Петр Иванович, обременит себя заботливостью о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно, не за что.

Но, с другой стороны, представлялось вот что: мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо; но если дело уже сделано и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности... вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе – не будет ли он отвечать перед совестью?..

Тут, кстати, Адуев вспомнил, как, семнадцать лет назад, покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу... но он вспомнил ее слезы при прощанье, ее благословения, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова: «Вот, когда вырастет Сашенька – тогда еще трехлетний ребенок, – может быть, и вы, братец, приласкаете его...» Тут Петр Иванович встал и скорыми шагами пошел в переднюю...

– Василий! – сказал он, – когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь сверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, так скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостинцы! Ну, что мы станем с ними делать?

– Давеча наш лавочник видел, как несли их вверх; он спрашивал, не уступим ли ему мед: «Я, говорит, хорошую цену дам», и малину берет...

– Прекрасно! отдай ему. Ну, а полотно куда девать? разве не годится ли на чехлы?.. Так спрячь полотно и варенье спрячь – его можно есть: кажется, порядочное.

Только что Петр Иванович расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.

– Мать твоя правду пишет, – сказал он, – ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда – напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать.

За этим Петр Иванович начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

– Ну, что твоя матушка? здорова ли? Я думаю, постарела? – спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом.

– Маменька, слава Богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже, – сказал робко Александр Федорыч. – Тетушка поручила мне обнять вас... – Он встал и подошел к дяде, чтоб поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся.

– Тетушке твоей пора бы с годами быть умнее, а она, я вижу, все такая же дура, как была двадцать лет тому назад...

Озадаченный Александр задом воротился на свое место.

– Вы получили, дядюшка, письмо?... – сказал он.

– Да, получил.

– Василий Тихоныч Заезжалов, – начал Александр Федорыч, – убедительно просит вас справиться и похлопотать о его деле...

– Да, он пишет ко мне... У вас еще не перевелись такие ослы?

Александр не знал, что и подумать, – так его сразили эти отзывы.

– Извините, дядюшка... – начал он почти с трепетом.

– Что?

– Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов... Я не знал вашей квартиры...

– В чем тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя Бог знает что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не зная, можно ли у меня остановиться или нет? Квартира у меня, как видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная да туалетная – лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня... А я нашел для тебя здесь же в доме квартиру...

– Ах, дядюшка! – сказал Александр, – как мне благодарить вас за эту заботливость?

И он опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою признательность.

– Тише, тише, не трогай! – заговорил дядя, – бритвы преострые, того и гляди, обрежешься сам и меня обрежешь.

Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза.

– Комната превеселенькая, – начал Петр Иванович, – окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь все у окна сидеть; если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорого – сорок рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо приучаться тебе с самого начала жить одному, без няньки; завести свое маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом, свой угол, – *un chez soi*, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать кого хочешь... Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя, а в другие дни – здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом: дома и покойнее, и не рискуешь столкнуться Бог знает с кем. Так ли?

– Я, дядюшка, очень благодарен...

– Что за благодарность? ведь ты мне родня? я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду; у меня и служба и завод...

– Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод.

– Стекланный и фарфоровый; впрочем, я не один: нас трое компаньонов.

– Хорошо идет?

– Да, порядочно; сбываем больше во внутренние губернии на ярмарки. Последние два года – хоть куда! Если б еще этак лет пять, так и того... Один компаньон, правда, не очень надежен – все мотает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, – тогда поговорим. Эй, Василий! ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться.

«Так вот как здесь, в Петербурге... – думал Александр, сидя в новом своем жилище, – если родной дядя так, что ж прочие?...»

Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату:

– Что это за житье здесь, – ворчал он, – у Петра Иваныча кухня-то, слышь, раз в месяц топится, люди-то у чужих обедают... Эко, Господи! ну, народец! нечего сказать, а еще петербургские называются! У нас и собака каждая из своей плошки лакает.

Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домов... и сравнил с тем, что видел, назад тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно.

Он вышел на улицу – суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вот Иван Иваныч идет к Петру Петровичу – и все в городе знают зачем. То Марья Мартыновна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал сломая голову жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают что: дочку или сына? Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвеевич вышел из дому, с толстой палкой, в шестом часу вечера, и всякому известно, что он идет делать вечерний моцион, что у него без того желудок не варит и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем ни встретишься – поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет, и у того в глазах написано: и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не издавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедши домой, опишут и костюм и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.

Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «Не он ли? – думал он, – не этот ли?» Но вскоре это надоело ему – министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу.

Он посмотрел на дома – и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор», – нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево – всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, всё одно да одно... нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, – кажется, и мысли и чувства людские также заперты.



Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно; его никто не замечает; он потерялся здесь; ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид! Один дом с остроконечной крышей и с палисадничком из акаций. На крыше надстройка, приют голубей, – купец Изюмин охотник гонять их: для этого он взял да и выстроил голубятню на крыше; и по утрам и по вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом – точно фонарь: со всех четырех сторон весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самовозгорания; тес принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скопившийся потолок и покачает головой, примолвив: «Простоит ли до весны? Авось!» – скажет потом и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикий дом лекаря, раскинувшийся полукружием, с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени; тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушение мальчишек. От церковей дома отступили на почтительное расстояние. Кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места – так и видно, что присутственные места: близко без надобности никто не подходит. А тут, в столице, их и не отличишь от простых домов, да еще, срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там, в городе, две, три улицы, уж и чувствуешь вольный воздух, начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука – и на улице и в людях тот же благодатный застой! И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы щиплют траву, ребяташки пускают змей.

А здесь... какая тоска! И провинциал вздыхает и по забору, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что зала Дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше и дешевле, а что на заморские редкости, этих больших раков и раковин, да красных рыбок, там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки; они обдирают вас, а вы и рады быть олухами! Зато как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется груша у вас? – скажет он, – да у нас это *и люди* не станут есть!...»



Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов, с письмом издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить; станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он, под конец, бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им *ты*, как будто двадцать лет знакомы; все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню...

Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают – ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: тут-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить... Всё назаперти, везде колокольчики: не мизерно ли это? да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там, у нас, входи смело; если отобедали, так опять для гостя станут обедать; самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный и поперечный. Сосед там – так настоящий

сосед, живут рука в руку, душа в душу; родственник – так родственник: умрет за своего... эх, грустно!

Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед *Медным всадником*, но не с горьким упреком в душе, как бедный *Евгений*<sup>5</sup>, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания – и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборами. Ему стало весело и легко. И суматоха и толпа – все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением; новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира... В этих мечтах воротился он домой.

Вечером, в 11 часов, дядя прислал звать его пить чай.

– Я только что из театра, – сказал дядя, лежа на диване.

– Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка: я бы пошел вместе с вами.

– Я был в креслах, куда ж ты, на колени бы ко мне сел? – сказал Петр Иванович, – вот завтра поди себе один.

– Одному грустно в толпе, дядюшка; не с кем поделиться впечатлением...

– И незачем! Надо уметь и чувствовать и думать, словом, жить одному; со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично.

Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет? – думал он, – синий сюртук, синие панталоны...»

– У меня, дядюшка, много платья, – сказал он, – шил Кенигштейн; он у нас на губернатора работает.

– Нужды нет, все-таки оно не годится; на днях я завезу тебя к своему портному; но это пустяки. Есть о чем важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?

– Я приехал... жить.

– Жить? то есть если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко: тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там, у себя; а если ты думал что-нибудь другое, так объяснись...

– Пользоваться жизнью, хотел я сказать, – прибавил Александр, весь покраснев, – мне в деревне надоело – все одно и то же...

– А! вот что! Что ж, ты наймешь бельэтаж на Невском проспекте, заведешь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни?

– Ведь это очень дорого, – заметил наивно Александр.

– Мать пишет, что она дала тебе тысячу рублей: этого мало, – сказал Петр Иванович. – Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело в деревне; он хочет пользоваться жизнью, так тот привез пятьдесят тысяч и ежегодно будет получать по столько же. Он точно будет пользоваться жизнью в Петербурге, а ты – нет! ты не за тем приехал.

– По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал.

---

<sup>5</sup> ...бедный Евгений... – герой поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».



– Почти так; это лучше сказано: тут есть правда; только все еще нехорошо. Неужели ты, как собирався сюда, не задал себе этого вопроса: зачем я еду? Это было бы не лишнее.

– Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ! – с гордостью отвечал Александр.

– Так что же ты не говоришь? ну, зачем?

– Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить...

Петр Иванович приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и наострил уши.

– Осуществить те надежды, которые толпились...

– Не пишешь ли ты стихов? – вдруг спросил Петр Иванович.

– И прозой, дядюшка; прикажете принести?

– Нет, нет!., после когда-нибудь; я так только спросил.

– А что?

– Да ты так говоришь...

– Разве нехорошо?

– Нет, – может быть, очень хорошо, да дико.

– У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, – сказал смутившийся Александр.

– О чем же он так говорил?

– О своем предмете.

– А!

– Как же, дядюшка, мне говорить?

– Попроще, как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя; ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуны, – так ли?

– Да, дядюшка, карьеру...

– И фортуны, – прибавил Петр Иванович, – что за карьера без фортуны? Мысль хороша – только... напрасно ты приезжал.

– Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это? – сказал Александр, глядя вокруг себя.

– Дельно замечено. Точно, я хорошо обставлен, и дела мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я – большая разница.

– Я никак не смею сравнивать себя с вами...

– Не в том дело; ты, может быть, вдесятеро умнее и лучше меня... да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; а тамошний порядок – ой, ой! Ты вон изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать.

– Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью...

– Советовать – боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдет вздор – станешь пенять на меня; а мнение свое сказать, изволь – не отказываюсь, ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет! я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь: как переработаете его? Вы помешались на любви, на дружбе да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают... как я отучу тебя от всего этого? – мудроно!

– Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал

об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею...

Петр Иванович при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился.

– Дело, кажется, простое, – сказал дядя, – а они Бог знает что заберут в голову... «разумно-деятельная толпа»!! Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном.

– Как, дядюшка, разве дружба и любовь – эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь...

– Что? Александр замолчал.

– «Любовь и дружба в грязь упали»! Ну, как ты этак здесь брякнешь?

– Разве они не те же и здесь, как там? хочу я сказать.

– Есть и здесь любовь и дружба, – где нет этого добра? только не такая, как там у вас; со временем увидишь сам... Ты прежде всего забудь эти *священные* да *небесные* чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть, право, лучше, будешь и говорить проще. Впрочем, это не мое дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же назад: если не найдешь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь... Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами... Знаешь, что я тебе скажу: не проси у меня их: это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтоб я тебе отказывал: нет, если придется так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать, обратись ко мне... Все у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере без процентов. Да чтоб не прибегать к этой крайности, я тебе поскорей найду место, чтоб ты мог доставать деньги. Ну, до свиданья. Заходи поутру, мы переговорим, что и как начать.

Александр Федорыч пошел домой.

– Послушай, не хочешь ли ты поужинать? – сказал Петр Иванович ему вслед.

– Да, дядюшка... я бы, пожалуй...

– У меня ничего нет.

Александр молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» – думал он.

– Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты, – продолжал дядя. – Вот тебе и урок на первый случай – привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа; холодно, так наденут себе шапку с наушниками, да и знать ничего не хотят; светло – так день, темно – так ночь. У тебя вон слипаются глаза, а я еще за работу сяду: к концу месяца надо счета свести. Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег – всё так! совершенные антиподы! Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счет, и на мой тоже. Это тебе даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночам, а крестить мне тебя некогда.

– К этому, дядюшка, легко привыкнуть...

– Хорошо, если так. А у вас все еще по-старому: можно прийти в гости ночью и сейчас ужин состряпают?

– Что ж, дядюшка, надеюсь, этой черты порицать нельзя. Добродетель русских...

– Полно! какая тут добродетель. От скуки там всякому мерзавцу рады: «Милости просим, кушай, сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалеем: это нам здесь ровно ничего не стоит...» Препротивная добродетель!

Так Александр лег спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил весь разговор; многого не понял, другому не совсем верил.

«Нехорошо говорю! – думал он, – любовь и дружба не вечны? не смеется ли надо мною дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же Софье и нравилось во мне особенно, как не дар слова? А любовь ее неужели не вечна?.. И неужели здесь в самом деле не ужинают?»

Он еще долго ворочался в постели: голова, полная тревожных мыслей, и пустой желудок не давали ему спать.

Прошло недели две.

Петр Иванович день ото дня становился довольнее своим племянником.

– У него есть такт, – говорил он одному своему компаньону по заводу, – чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика. Он не навязывается, не ходит ко мне без зову; и когда заметит, что он лишний, тотчас уйдет; и денег не просит: он малый покойный. Есть странности... лезет целоваться, говорит, как семинарист... ну, да от этого отвыкнет: и то хорошо, что он не сел мне на шею.

– Есть состояние? – спросил тот.

– Нет; каких-нибудь сто душонок.

– Что ж! если есть способности, так он пойдет здесь... ведь и вы не с большего начали, а вот, слава Богу...

– Нет! куда! ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится, ах да ох! не привыкнет он к здешнему порядку: где ему сделать карьеру! напрасно приезжал... ну это уж его дело.

Александр долгом считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей.

«Дядюшка у меня, кажется, добрый человек, – писал он в одно утро к Пospелову, – очень умен, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчетах... Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрызгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него неразрывно связано с землей, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня в здешней холодной толпе горячими объятьями дружбы; а дружба, ты знаешь, *второе провиденье!* Но и он есть не что иное, как выражение этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту, но что встретил? – холодные советы, которые он называет дельными; но пусть они лучше будут недельны, но полны теплого, сердечного участия. Он горд не горд, но враг всяких искренних излияний; мы не обедаем, не ужинаем вместе, никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и никогда также не говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомые, нравится ему что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит особенно, ни ласков, ни печален, ни весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь, и говоришь, как вдохновенный пророк, почти как наш великий, незабвенный Иван Семеныч, когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы трепетали в восторге от его огненного взора и слова; а дядюшка? слушает, подняв брови, и смотрит престранно или засмеется как-то по-своему, таким смехом, который леденит у меня кровь, – и прощай, вдохновение! Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона<sup>6</sup>... Не верит он *любви* и проч., говорит, что счастья нет, что его никто и не обещал,

---

<sup>6</sup> Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона... – Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «Демон».

а что есть просто жизнь, разделяющаяся по ровно на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и проч., что на все на это надо смотреть просто, не забирать себе в голову бесполезных – каково? бесполезных! – вопросов о том, зачем мы созданы да к чему стремимся, – что это не наша забота и что от этого мы не видим, что у нас под носом, и не делаем своего дела... только и слышишь о деле! В нем не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь наслаждения или прозаического дела: и за счетами, и в театре, все одинаков; сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного: оно чуждо душе его; я думаю, он не читал даже Пушкина...»

Петр Иванович неожиданно явился в комнату племянника и застал его за письмом.

– Я пришел посмотреть, как ты тут устроился, – сказал дядя, – и поговорить о деле.

Александр вскочил и проворно что-то прикрыл рукой.

– Спрячь, спрячь свой секрет, – сказал Петр Иванович, – я отвернусь. Ну, спрятал? А это что выпало? что это такое?

– Это, дядюшка, ничего... – начал было Александр, но смешался и замолчал.

– Кажется, волосы! Подлинно, ничего! уж я видел одно, так покажи и то, что спрятал в руке.

Александр, точно уличенный школьник, невольно разжал руку и показал кольцо.

– Что это? откуда? – спросил Петр Иванович.

– Это, дядюшка, вещественные знаки... невещественных отношений...

– Что? что? дай-ка сюда эти знаки.

– Это залого...

– Верно, из деревни привез?

– От Софьи, дядюшка, на память... при прощанье...

– Так и есть. И это ты вез за тысячу пятьсот верст? Дядя покачал головой.

– Лучше бы ты привез еще мешок сушеной малины: ту по крайней мере в лавочку сбыли, а эти залого...

Он рассматривал то волосы, то колечко; волосы понюхал, а колечко взвесил на руке. Потом взял бумажку со столе, завернул в нее оба знака, сжал все это в компактный комочек и – бац в окно.

– Дядюшка! – неистово закричал Александр, схватив его за руку, но поздно: комочек перелетел через угол соседней крыши, упал в канал, на край барки с кирпичами, отскочил и прыгнул в воду.

Александр молча, с выражением горького упрека, смотрел на дядю.

– Дядюшка! – повторил он.

– Что?

– Как назвать ваш поступок?

– Бросанием из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно держать в комнате...

– Пустяков, это пустяки!

– А ты думал что? – половина твоего сердца... Я пришел к нему за делом, а он вон чем занимается – сидит да думает над дрянью!

– Разве это мешает делу, дядюшка?

– Очень. Время проходит, а ты до сих пор мне еще и не помянул о своих намерениях: хочешь ли ты служить, избрал ли другое занятие – ни слова! а все оттого, что у тебя Софья да знаки на уме. Вон ты, кажется, к ней письмо пишешь? Так?

– Да... я начал было...

– А к матери писал?

- Нет еще, я хотел завтра.
- Отчего же завтра? К матери завтра, а к Софье, которую через месяц надо забыть, сегодня...
- Софью? можно ли ее забыть?
- Должно. Не брось я твоих залогов, так, пожалуй, чего доброго, ты помнил бы ее лишний месяц. Я оказал тебе вдвойне услугу. Через несколько лет эти знаки напомнили бы тебе глупость, от которой бы ты краснел.
- Краснеть от такого чистого, святого воспоминания? это значит не признавать поэзии...
- Какая поэзия в том, что глупо? поэзия, например, в письме твоей тетки! желтый цветок, озеро, какая-то тайна... как я стал читать – мне так стало нехорошо, что и сказать нельзя! чуть не покраснел, а уж я ли не отвык краснеть!
- Это ужасно, ужасно, дядюшка! стало быть, вы никогда не любили?
- Знаков терпеть не мог.
- Это какая-то деревянная жизнь! – сказал в сильном волнении Александр, – прозябание, а не жизнь! прозябать *без вдохновенья, без слез, без любви...*<sup>7</sup>
- И без волос! – прибавил дядя.
- Как вы, дядюшка, можете так холодно издеваться над тем, что есть лучшего на земле? ведь это преступление... Любовь... святые волнения!
- Знаю я эту святую любовь: в твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронутся до руки – так по всему телу и побежит святая, возвышенная любовь, а дай-ка волю, так и того... Твоя любовь, к сожалению, впереди; от этого никак не уйдешь, а дело уйдет от тебя, если не станешь им заниматься.
- Да разве любовь не дело?
- Нет: приятное развлечение, только не нужно слишком предаваться ему, а то выйдет вздор. От этого я и боюсь за тебя. – Дядя покачал головой. – Я почти нашел тебе место; ты ведь хочешь служить? – сказал он.
- Ах, дядюшка, как я рад!
- Александр бросился и поцеловал дядю в щеку.
- Нашел-таки случай! – сказал дядя, вытирая щеку, – как это я не остерегся! Ну, так слушай же. Скажи, что ты знаешь, к чему чувствуешь себя способным?
- Я знаю богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипломатию, политическую экономию, философию, эстетику, археологию...
- Постой, постой! а умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее всего.
- Какой вопрос, дядюшка: умею ли писать по-русски! – сказал Александр и побежал к комоду, из которого начал вынимать разные бумаги, а дядя между тем взял со стола какое-то письмо и стал читать.
- Александр подошел с бумагами к столу и увидел, что дядя читает письмо. Бумаги у него выпали из рук.
- Что это вы читаете, дядюшка? – сказал он в испуге.
- А вот тут лежало письмо, к другу, должно быть. Извини, мне хотелось взглянуть, как ты пишешь.
- И вы прочитали его?
- Да, почти – вот только две строки осталось, – сейчас дочитаю; а что? ведь тут секретов нет, иначе бы оно не валялось так...

---

<sup>7</sup> ...*без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви...* – цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К\*\*\*» («Я помню чудное мгновенье...»).

- Что же вы теперь думаете обо мне?
- Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко...
- Стало быть, вы не прочли, что тут написано? – с живостью спросил Александр.
- Нет, кажется, все, – сказал Петр Иванович, поглядев на обе страницы, – сначала описываешь Петербург, свои впечатления, а потом меня.
- Боже мой! – воскликнул Александр и закрыл руками лицо.
- Да что ты? что с тобой?
- И вы говорите это покойно? вы не сердитесь, не ненавидите меня?
- Нет! из чего мне бесноваться?
- Повторите, успокойте меня.
- Нет, нет, нет.
- Мне все не верится; докажите, дядюшка...
- Чем прикажешь?
- Обнимите меня.
- Извини, не могу.
- Почему же?
- Потому что в этом поступке разума, то есть смысла, нет, или, говоря словами твоего профессора, сознание не побуждает меня к этому; вот если б ты был женщина – так другое дело: там это делается без смысла, по другому побуждению.
- Чувство, дядюшка, просится наружу, требует порыва, излияния...
- У меня не просится и не требует, да если б и просилось, так я бы воздержался – и тебе тоже советую.
- Зачем же?
- А затем, чтоб после, когда рассмотришь поближе человека, которого обнял, не краснеть за свои объятия.
- Разве не случается, дядюшка, что оттолкнешь человека и после раскаешься?
- Случается; оттого я никогда никого и не отталкиваю.
- Вы и меня не оттолкнете за мой поступок, не назовете чудовищем?
- У тебя кто напишет вздор, тот и чудовище. Этак бы их развелось несметное множество.
- Но читать про себя такие горькие истины – и от кого же? от родного племянника!
- Ты воображаешь, что написал истину?..
- О, дядюшка!., конечно, я ошибся... я переправлю... простите...
- Хочешь, я тебе продиктую истину?
- Сделайте милость.
- Садись и пиши.
- Александр вынул лист бумаги и взял перо, а Петр Иванович, глядя на прочтенное им письмо, диктовал:
- «Любезный друг». Написал?
- Написал.
- «Петербург и впечатлений своих описывать тебе не стану».
- «Не стану», – сказал Александр, написав.
- «Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому; впечатления мои тебе ни на что не годятся. Нечего по-пустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня».
- «Дядю», – сказал Александр.
- Ну, вот ты пишешь, что я очень добр и умен, – может быть, это и правда, может быть, и нет; возьмем лучше середину, пиши:
- «Дядя мой не глуп и не зол, мне желает добра...»

– Дядюшка! я умею ценить и чувствовать... – сказал Александр и потянулся поцеловать его.

– «Хотя и не вешается мне на шею, – продолжал диктовать Петр Иванович. Александр, не дотянувшись до него, поскорей сел на свое место. – А желает добра, потому что не имеет причины и побуждения желать зла и потому, что его просила обо мне моя матушка, которая делала некогда для него добро. Он говорит, что меня не любит – и весьма основательно: в две недели нельзя полюбить, и я еще не люблю его, хотя и уверяю в противном».

– Как это можно? – сказал Александр.

– Пиши, пиши:

«Но мы начинаем привыкать друг к другу. Он даже говорит, что можно и совсем обойтись без любви. Он не сидит со мной, обнявшись, с утра до вечера, потому что это вовсе не нужно, да ему и некогда».

«Враг искренних излияний», – это можно оставить: это хорошо. Написал?

– Написал.

– Ну, что у тебя тут еще? «Прозаический дух, демон...» Пиши.

Пока Александр писал, Петр Иванович взял со стола какую-то бумагу, свернул ее, достал огня и закурил сигару, а бумагу бросил и затоптал.

– «Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как и все, – диктовал он, – только не совсем похож на нас с тобой. Он думает и чувствует по-земному, полагает, что если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела, и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам ее хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с их настоящей стороны, а не заноситься Бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая, от частых сношений и привычки, обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу и люди забывают друг друга и что это вовсе не преступление. Поэтому он уверяет, что я тебя забуду, а ты меня. Это мне, да и тебе, вероятно, кажется дико, но он советует привыкнуть к этой мысли, отчего мы оба не будем в дураках. О любви он того же мнения, с небольшими оттенками: не верит в неизменную и вечную любовь, как не верит в домовых – и нам не советует верить. Впрочем, об этом он советует мне думать как можно меньше, а я тебе советую. Это, говорит он, придет само собою – без зову; говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает свое время, а целый век мечтать об одной любви – глупо. Те, которые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, – живут сердцем, и еще чем-то хуже, на счет головы. Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе: мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуждается в нас; занимаясь, он не забывает и себя: дело доставляет деньги, а деньги комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не всегда думает о службе да о заводе, он знает наизусть не одного Пушкина...»

– Вы, дядюшка? – сказал изумленный Александр.

– Да, когда-нибудь увидишь. Пиши:

«Он читает на двух языках все, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы – это его вкус, – часто бывает в театре, но не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком, что советует

и мне, а я тебе. Прощай, пиши ко мне пореже и не теряй по-пустому времени. Друг твой такой-то. Ну, месяц и число».

— Как можно послать такое письмо? — сказал Александр, — «пиши пореже» — написать это человеку, который нарочно за сто шестьдесят верст приехал, чтобы сказать последнее «прости»! «Советую то, другое, третье...» — он не глупее меня: он вышел вторым кандидатом.

— Нужды нет, ты все-таки пошли: может быть, он поумнее станет: это наведет его на разные новые мысли; хоть вы кончили курс, а школа ваша только что начинается.

— Я не могу решиться, дядюшка...

— Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела, но ты сам просил что-нибудь для тебя сделать; я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шаг, а ты упрямись; ну, как хочешь; я говорю только свое мнение, а принуждать не стану, я тебе не нянька.

— Извините, дядюшка: я готов повиноваться, — сказал Александр и тотчас запечатал письмо.

Запечатав одно, он стал искать другое, к Софье. Он поглядел на стол — нет, под столом — тоже нет, в ящике — не бывало.

— Ты чего-то ищешь? — сказал дядя.

— Я ищу другого письма... к Софье. И дядя стал искать.

— Где же оно? — говорил Петр Иванович, — я, право, не бросал его за окно...

— Дядюшка! что вы наделали? ведь вы им закурили сигару! — горестно сказал Александр и поднял обгорелые остатки письма.

— Не-уже-ли? — воскликнул дядя, — да как это я? и не заметил; смотри, пожалуй, сжег такую драгоценность... А впрочем, знаешь что? оно даже, с одной стороны, хорошо...

— Ах, дядюшка, ей-богу, ни с какой стороны не хорошо... — заметил Александр в отчаянии.

— Право, хорошо: с нынешней почтой ты не успеешь написать к ней, а к будущей уж, верно, одумаешься, займешься службой; тебе будет не до того, и, таким образом, сделаешь одной глупостью меньше.

— Что ж она подумает обо мне?

— А что хочет. Да, я думаю, это полезно и ей. Ведь ты не женишься на ней? Она подумает, что ты ее забыл, забудет тебя сама и меньше будет краснеть перед будущим своим женихом, когда станет уверять его, что никого, кроме его, не любила.

— Вы, дядюшка, удивительный человек! для вас не существует постоянства, нет святости обещаний... Жизнь так хороша, так полна прелести, неги: она как гладкое, прекрасное озеро...

— На котором растут желтые цветы, что ли? — перебил дядя.

— Как озеро, — продолжал Александр, — она полна чего-то таинственного, заманчивого, скрывающего в себе так много...

— Тины, любезный.

— Зачем же вы, дядюшка, черпаете тину, зачем так разрушаете и уничтожаете все радости, надежды, блага... смотрите с черной стороны?

— Я смотрю с настоящей — и тебе тоже советую: в дураках не будешь. С твоими понятиями жизнь хороша там, в провинции, где ее не ведают, — там и не люди живут, а ангелы: вот Заезжалов — святой человек, тетушка твоя — возвышенная, чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, как и тетушка, да еще...

— Оканчивайте, дядюшка! — сказал взбешенный Александр.

— Да еще такие мечтатели, как ты: водят носом по ветру, не пахнет ли откуда-нибудь неизменной дружбой да любовью... В сотый раз скажу: напрасно приезжал!

– Станет она уверять жениха, что никого не любила! – говорил почти сам с собою Александр.

– А ты все свое!

– Нет, я уверен, что она прямо, с благородной откровенностью отдаст ему мои письма и...

– И знаки, – сказал Петр Иванович.

– Да, и залогов наших отношений... и скажет: «Вот, вот кто первый пробудил струны моего сердца; вот при чьем имени заиграли они впервые...»

У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александр замолчал.

– Что ж ты перестал играть на своих струнах? Ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья, если сделает такую штуку; надеюсь, у нее есть мать или кто-нибудь, кто бы мог остановить ее?

– Вы, дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души, это благородное излияние сердца; как прикажете думать о вас?

– Как тебе заблагорассудится. Жениха своего она заставит подозревать Бог знает что; пожалуй, еще и свадьба разойдется, а отчего? оттого, что вы там рвали вместе желтые цветы... Нет, так дела не делаются. Ну, так ты по-русски писать можешь, – завтра поедem в департамент: я уж говорил о тебе прежнему своему сослуживцу, начальнику отделения; он сказал, что есть вакансия; терять времени нечего... Это что за кипу ты вытащил?

– А это мои университетские записки. Вот, позвольте прочесть несколько страниц из лекций Ивана Семеныча, об искусстве в Греции.

Он уж начал было проворно переворачивать страницы.

– Ох, сделай милость, уволь! – сказал, сморщившись, Петр Иванович. – А это что?

– А это мои диссертации. Я желал бы показать их своему начальнику; особенно тут есть один проект, который я обработал...

– А! один из тех проектов, которые тысячу лет уж как исполнены или которых нельзя и не нужно исполнять.

– Что вы, дядюшка! да этот проект был представлен одному значительному лицу, любителю просвещения; за это однажды он пригласил меня с ректором обедать. Вот начало другого проекта.

– Отобедай у меня дважды, да только не дописывай другого проекта.

– Почему же?

– Да так, ты теперь хорошего ничего не напишешь, а время уйдет.

– Как! слушавши лекции?..

– Они пригодятся тебе со временем, а теперь смотри, читай, учись да делай, что заставят.

– Как же узнает начальник о моих способностях?

– Мигом узнает: он мастер узнавать. Да ты какое же место хотел бы занять?

– Я не знаю, дядюшка, какое бы...

– Есть места министров, – говорил Петр Иванович, – товарищей их, директоров, вице-директоров, начальников отделений, столоначальников, их помощников, чиновников особых поручений, мало ли?

Александр задумался. Он растерялся и не знал, какое выбрать.

– Вот бы на первый раз место столоначальника хорошо, – сказал он.

– Да, хорошо! – повторил Петр Иванович.

– Я бы присмотрелся к делу, дядюшка, а там месяца через два можно бы и в начальники отделения...

Дядя наострил уши.

– Конечно, конечно! – сказал он, – потом через три месяца в директоры, ну, а там через год и в министры: так, что ли?

Александр покраснел и молчал.

– Начальник отделения, вероятно, сказал вам, какая есть вакансия? – спросил он потом.

– Нет, – отвечал дядя, – он не говорил, да мы лучше положимся на него; сами-то, видишь, затрудняемся в выборе, а он уж знает, куда определить. Ты ему не говори о своем затруднении насчет выбора, да и о проектах тоже ни слова: пожалуй, еще обидится, что не доверяем ему, да пугнет порядком; он крутенок. Я бы тебе не советовал говорить и о *вещественных знаках* здешним красавицам: они не поймут этого, где им понять! Это для них слишком высоко: и я насилу вникнул, а они будут гримасничать.

Пока дядя говорил, Александр ворочал в руке какой-то сверток.

– Что это еще у тебя?

Александр с нетерпением ждал этого вопроса.

– Это... я давно хотел вам показать... стихи: вы однажды интересовались...

– Что-то не помню; кажется, я не интересовался...

– Вот видите, дядюшка, я думаю, что служба – занятие сухое, в котором не участвует душа, а душа жаждет выразиться, поделиться с ближними избытком чувств и мыслей, переполняющих ее...

– Ну, так что же? – с нетерпением спросил дядя.

– Я чувствую призвание к творчеству...

– То есть ты хочешь заняться, кроме службы, еще чем-нибудь – так, что ли, в переводе? Что ж, очень похвально: чем же? литературой?

– Да, дядюшка, я хотел просить вас, нет ли у вас случая поместить кое-что...

– Уверен ли ты, что у тебя есть талант? без этого ведь ты будешь чернорабочий в искусстве – что ж хорошего? Талант – другое дело: можно работать; много хорошего сделаешь, и притом это капитал – стоит твоих ста душ.

– Вы и это измеряете деньгами?

– А чем же прикажешь? чем больше тебя читают, тем больше платят денег.

– А слава, слава? вот истинная награда певца...

– Она устала нянчиться с певцами: слишком много претендентов. Это прежде, бывало, слава, как женщина, ухаживала за всякими, а теперь, замечаешь ли? ее как будто нет совсем, или она спряталась – да! Есть известность, а славы что-то не слышать, или она придумала другой способ проявляться: кто лучше пишет, тому больше денег, кто хуже – не прогневайся. Зато нынче порядочный писатель и живет порядочно, не мерзнет и не умирает с голода на чердаке, хоть за ним и не бегают по улицам и не указывают на него пальцами, как на шута; поняли, что поэт не небожитель, а человек: так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие: чего ж тут смотреть?..

– Как другие – что вы, дядюшка! как это можно говорить! Поэт заклеен особенною печатью: в нем таится присутствие высшей силы...

– Как иногда в других – и в математике, и в часовщике, и в нашем брате, заводчике. Ньютон, Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и прочие. Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из нее выходил фарфор лучше саксонского или севрского, так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы?

– Вы смешиваете искусство с ремеслом, дядюшка.

– Боже сохрани! Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество может быть и в том и в другом, так же точно, как и не быть. Если нет его, так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец, и поэт без творчества уж не поэт, а сочинитель... Да разве вам об этом не читали в университете! Чему же вы там учились?..

Дяде уж самому стало досадно, что он пустился в такие объяснения о том, что считал общеизвестной истиной.

«Это похоже на искренние излияния», – подумал он.

– Покажи-ка, что там у тебя? – спросил он, – стихотворения!

Дядя взял сверток и начал читать первую страницу:

Отколь порой тоска и горе  
Внезапной тучей налетят  
И, сердце с жизнью поссоря...

– Дай-ка, Александр, огня.

Он закурил сигару и продолжал:

В нем рой желаний заменят?  
Зачем вдруг сумрачным ненастьем  
Падет на душу тяжкий сон,  
Каким неведомым несчастьем  
Ее смутит внезапно он...

– Одно и то же в первых четырех стихах сказано, и вышла вода, – заметил Петр Иванович и читал:

Кто отгадает, отчего  
Проступит хладными слезами  
Вдруг побледневшее чело...

– Как же это так? Чело потом проступает, а слезами – не видывал.

И что тогда творится с нами?  
Небес далеких тишина  
В тот миг ужасна и страшна...

– Ужасна и страшна – одно и то же.

Гляжу на небо: там луна...

– Луна непременно: без нее никак нельзя! Если у тебя тут есть *мечта* и *дева* – ты погиб: я отступаюсь от тебя.

Гляжу на небо: там луна  
Безмолвно плавает, сияя,  
И мнится, в ней погребена  
От века тайна роковая.

– Недурно! Дай-ка еще огня... сигара погасла. Где бишь, – да!

В эфире звезды, притаясь,  
Дрожат в изменчивом сиянье  
И, будто дружно согласясь,

Хранят коварное молчанье.  
Так в мире все грозит бедой,  
Все зло нам дико предвещает,  
Беспечно будто бы качает  
Нас в нем обманчивый покой;  
И грусти той назва...нья нет...

Дядя сильно зевнул и продолжал:

Она пройдет, умчит и след,  
Как перелетный ветер степей  
С песков сдувает след зверей.

– Ну, уж зверей-то тут куда нехорошо! Зачем же тут черта? А! это было о грусти, а теперь о радости...

И он начал скороговоркой читать, почти про себя:

Зато случается порой,  
Иной в нас демон поселится,  
Тогда восторг живой струей  
Насильно в душу протеснится...  
И затрепещет сладко грудь...  
и т. д.

– Ни худо, ни хорошо! – сказал он, окончив. – Впрочем, другие начинали и хуже; попробуй пиши, занимайся, если есть охота; может быть, и обнаружится талант; тогда другое дело.

Александр опечалился. Он ожидал совсем не такого отзыва. Его немного утешало то, что он считал дядю человеком холодным, почти без души.

– Вот перевод из Шиллера, – сказал он.

– Довольно; я вижу; а ты знаешь и языки?

– Я знаю по-французски, по-немецки и немного по-английски.

– Поздравляю тебя, давно бы ты сказал: из тебя можно многое сделать. Давеча наскзал мне про политическую экономию, философию, археологию, Бог знает про что еще, а о главном ни слова – скромность некстати. Я тебе тотчас найду и литературное занятие.

– Неужели, дядюшка? вот обяжете! – позвольте вас обнять.

– погоди, вот как найду.

– Не покажете ли вы чего-нибудь из моих сочинений будущему моему начальнику, чтоб дать понятие?

– Нет, не нужно; если понадобится, ты и сам покажешь, а может быть, и не понадобится. Подари-ка ты мне свои проекты и сочинения?..

– Подарить? – извольте, дядюшка, – сказал Александр, которому польстило это требование дяди. – Не угодно ли, я вам сделаю оглавление всех статей в хронологическом порядке?

– Нет, не нужно... Спасибо за подарок. Евсей! отнеси эти бумаги к Василью.

– Зачем Василью? в ваш кабинет.

– Он просил у меня бумаги обклеить что-то...

– Как, дядюшка?.. – в ужасе спросил Александр и схватил кипу назад.

– Ведь ты подарил, а тебе что за дело, какое употребление я сделаю из твоего подарка?..

– Вы не щадите ничего... ничего!.. – с отчаянием стонал он, прижимая бумаги обеими руками к груди.

– Александр, послушайся меня, – сказал дядя, вырывая у него бумаги, – не будешь краснеть после и скажешь мне спасибо.

Александр выпустил бумаги из рук.

– На, отнеси, Евсей, – сказал Петр Иванович. – Ну, вот теперь у тебя в комнате чисто и хорошо: пустяков нет; от тебя будет зависеть наполнить ее сором или чем-нибудь дельным. Поедем на завод прогуляться, рассеяться, подышать свежим воздухом и посмотреть, как работают.

Утром Петр Иванович привез племянника в департамент, и пока сам он говорил с своим приятелем – начальником отделения, Александрзнакомился с этим новым для него миром. Он еще мечтал все о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить, между тем все стоял и смотрел.

«Точно завод моего дяди! – решил он наконец. – Как там один мастер возьмет кусок массы, бросит ее в машину, повернет раз, два, три, – смотришь, выйдет конус, овал или полукруг; потом передает другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвертый расписывает, и выйдет чашка, или ваза, или блюдечко. И тут: придет посторонний проситель, подаст, полусогнувшись, с жалкой улыбкой, бумагу – мастер возьмет, едва дотронется до нее пером и передаст другому, тот бросит ее в массу тысячи других бумаг, – но она не затеряется: заклеенная номером и числом, она пройдет невредимо чрез двадцать рук, плодясь и производя себе подобных. Третий возьмет ее и полезет зачем-то в шкаф, заглянет или в книгу, или в другую бумагу, скажет несколько магических слов четвертому – и тот пошел скрипеть пером. Поскрипев, передает родительницу с новым чадом пятому – тот скрипит в свою очередь пером, и рождается еще плод, пятый охорашивает его и сдает дальше, и так бумага идет, идет – никогда не пропадает: умрут ее производители, а она все существует целые веки. Когда, наконец, ее покроет вековая пыль, и тогда еще тревожат ее и советуются с нею. И каждый день, каждый час, и сегодня и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей – одни колеса да пружины...

Где же разум, оживляющий идвигающий эту фабрику бумаг? – думал Александр, – в книгах ли, в самих ли бумагах, или в головах этих людей?»



И какие лица увидел он тут! На улице как будто этакие и не встречаются и не выходят на Божий свет: тут, кажется, они родились, выросли, срослись с своими местами, тут и умрут. Поглядел Адуев пристально на начальника отделения: точно Юпитер-громовержец; откроет рот – и бежит Меркурий с медной бляхой на груди; протянет руку с бумагой – и десять рук тянутся принять ее.

– Иван Иваныч! – сказал он.

Иван Иваныч выскочил из-за стола, подбежал к Юпитеру и стал перед ним как лист перед травой. И Александр оробел, сам не зная отчего.

– Дайте табачку!

Тот с подобострастием поднес обеими руками открытую табакерку.

– Да испытайте вот их! – сказал начальник, указывая на Адуева.

«Так вот кто будет меня испытывать! – думал Адуев, глядя на желтую фигуру Ивана Иваныча с обтертыми локтями. – Неужели и этот человек решает государственные вопросы?»

– Хороша ли у вас рука? – спросил Иван Иваныч.

– Рука?

– Да-с; почерк. Вот потрудитесь переписать эту бумажку.

Александр удивился этому требованию, но исполнил его. Иван Иваныч сморщился, поглядев на его труд.

– Плохо пишут-с, – сказал он начальнику отделения. Тот поглядел.

– Да, нехорошо: набело не может писать. Ну, пусть пока переписывает отпуска, а там, как привыкнет немного, займите его исполнением бумаг; может быть, он годится: он учился в университете.

Вскоре и Адуев стал одною из пружин машины. Он писал, писал, писал без конца и удивлялся уже, что по утрам можно делать что-нибудь другое; а когда вспоминал о своих проектах, краска бросалась ему в лицо.

«Дядюшка! – думал он, – в одном уж ты прав, немилосердно прав; неужели и во всем так? ужели я ошибался и в заветных, вдохновенных думах, и в теплых верованиях в любовь, в дружбу... и в людей... и в самого себя?.. Что же жизнь?» Он наклонялся над бумагой и сильнее скрипел пером, а у самого под ресницами сверкали слезы.

– Тебе решительно улыбаются фортуна, – говорил Петр Иванович племяннику. – Я сначала целый год без жалованья служил, а ты вдруг поступил на старший оклад; ведь это семьсот пятьдесят рублей, а с наградой тысяча будет. Прекрасно на первый случай! Начальник отделения хвалит тебя; только говорит, что ты рассеян: то запятых не поставишь, то забудешь написать содержание бумаги. Пожалуйста, отвыкни: главное дело – обращай внимание на то, что у тебя перед глазами, а не заносись вон куда.

Дядя указал рукой кверху. С тех пор он сделался еще ласковее к племяннику.

– Какой прекрасный человек мой столоначальник, дядюшка! – сказал однажды Александр.

– А ты почему знаешь?

– Мы сблизились с ним. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направление мыслей! и с помощником также: это, кажется, человек с твердой волей, с железным характером...

– Уж ты успел сблизиться с ними?

– Да, как же!..

– Не звал ли тебя столоначальник к себе по четвергам?

– Ах, очень: каждый четверг. Он, кажется, чувствует ко мне особенное влечение...

– А помощник просил денег взаймы?

– Да, дядюшка, безделицу... я ему дал двадцать пять рублей, что со мною было; он просил еще пятьдесят.

– Уж дал! А! – сказал с досадой дядя, – тут отчасти я виноват, что не предупредил тебя; да я думал, что ты не до такой степени прост, чтоб через две недели знакомства давать деньги взаймы. Нечего делать, грех пополам: двенадцать с полтиной считай за мной.

– Как, дядюшка, ведь он отдаст?

– Держи карман! Я его знаю: за ним пропадают моих сто рублей с тех пор, как я там служил. Он у всех берет. Теперь, если попросит, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должок – отстанет! а к столоначальнику не ходи.

– Отчего же, дядюшка?

– Он картежник. Посадит тебя с двумя такими же молодцами, как сам, а те стакнутся и оставят тебя без гроша.

– Картежник! – говорил в изумлении Александр, – возможно ли? Кажется, так склонен к искренним излияниям..

– А ты скажи ему, так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на сохранение, так и увидишь, склонен ли он к искренним излияниям и позовет ли когда-нибудь к себе в четверг.

Александр задумался. Дядя покачал головой.

– А ты думал, что там около тебя ангелы сидят! *Искренние излияния, особенное влечение!* Как, кажется, не подумать о том прежде: не мерзавцы ли какие-нибудь около? Напрасно ты приезжал! – сказал он, – право, напрасно!

Однажды Александр только что проснулся, Евсей подал ему большой пакет, с запиской от дяди.

«Наконец вот тебе и литературное занятие, – написано было в записке, – я вчера виделся с знакомым мне журналистом; он прислал тебе для опыта работу».

От радости у Александра дрожали руки, когда он распечатывал пакет. Там была немецкая рукопись.

– Что это – проза? – сказал он, – о чем же?

И прочитал написанное наверху карандашом: «*О наземе*, статья для отдела о сельском хозяйстве. Просят перевести поскорее».

Долго, задумчивый, сидел он над статьею, потом медленно, со вздохом, принялся за перо и начал переводить. Через два дня статья была готова и отослана.

– Прекрасно, прекрасно! – сказал ему через несколько дней Петр Иванович. – Редактор предоволен, только находит, что стиль не довольно строг: ну, да с первого раза нельзя же всего требовать. Он хочет познакомиться с тобой. Ступай к нему завтра, часов в семь вечера: там он уж приготовил еще статью.

– Опять о том же, дядюшка?

– Нет, о чем-то другом; он мне сказывал, да я забыл... ах, да: *о картофельной патоке*. Ты, Александр, должно быть, в сорочке родился. Я, наконец, начинаю надеяться, что из тебя что-нибудь и выйдет: скоро, может быть, не стану говорить тебе, зачем ты приезжал. Не прошло месяца, а уж со всех сторон так на тебя и льется. Там тысяча рублей, да редактор обещал сто рублей в месяц за четыре печатных листа: это ведь две тысячи двести рублей! Нет! я не так начал! – сказал он, сдвинув немного брови. – Напиши же к матери, что ты пристроен и каким образом. Я тоже стану отвечать ей, напишу, что я, за ее добро ко мне, сделал для тебя все, что мог.

– Маменька будет вам... очень благодарна, дядюшка, и я также... – сказал Александр со вздохом, но уже не бросился обнимать дядю.

### III

Прошло более двух лет. Кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с изящными манерами, в щегольском костюме? Он очень изменился, возмужал. Мягкость линий юношеского лица, прозрачность и нежность кожи, пушок на подбородке – все исчезло. Не стало и робкой застенчивости, и грациозной неловкости движений. Черты лица созрели и образовали физиономию, а физиономия обозначила характер. Лилии и розы исчезли, как будто под легким заггаром. Пушок заменился небольшими бакенбардами. Легкая и шаткая поступь стала ровною и твердою походкою. В голосе прибавилось несколько басовых нот. Из подмалеванной картины вышел окончанный портрет. Юноша превратился в мужчину. В глазах блистали самоуверенность и отвага – не та отвага, что слышно за версту, что глядит на все нагло и ухватками и взглядами говорит встречному и поперечному: «Смотри, берегись, не задень, не наступи на ногу, а не то – понимаешь? с нами расправа коротка!» Нет, выражение той отваги, о которой говорю, не отталкивает, а влечет к себе. Она узнается по стремлению к добру, к успеху, по желанию уничтожить заграждающие их препятствия... Прежняя восторженность на лице Александра умерялась легким оттенком задумчивости, первым признаком закравшейся в душу недоверчивости и, может быть, единственным следствием уроков дяди и беспощадного анализа, которому тот подвергал все, что проносилось в глазах и в сердце Александра. Александр усвоил, наконец, и такт, то есть умение обращаться с людьми. Он не бросался всем на шею, особенно с тех пор, как человек, склонный к *искренним излияниям*, несмотря на предостережение дяди, обыграл его два раза, а человек с твердым характером и железной волей перебрал у него немало денег взаймы. И другие люди и случаи много помогли этому. В одном месте он замечал, как исподтишка смеялись над его юношескою восторженностью и прозвали романтиком. В другом – едва

обращали на него внимание, потому что от него никому не было *ni chaud, ni froid*<sup>8</sup>. Он не давал обедов, не держал экипажа, не играл в большую игру. Прежде у Александра болело и ныло сердце от этих стычек розовых его мечтаний с действительностью. Ему не приходило в голову спросить себя: да что же я сделал отличного, чем отличился от толпы? Где мои заслуги и за что должны замечать меня? А между тем самолюбие его страдало.

Потом он стал понемногу допускать мысль, что в жизни, видно, не всё одни розы, а есть и шипы, которые иногда покалывают, но слегка только, а не так, как рассказывает дядюшка. И вот он начал учиться владеть собою, не так часто обнаруживал порывы и волнения и реже говорил диким языком, по крайней мере при посторонних.

Но все еще, к немалому горю Петра Ивановича, он далеко был от холодного разложения на простые начала всего, что волнует и потрясает душу человека. О приведении же в ясность всех тайн и загадок сердца он не хотел и слушать.

Петр Иванович даст ему утром порядочный урок, Александр выслушает, смутится или глубоко задумается, а там поедет куда-нибудь на вечер и воротится сам не свой; дня три ходит как шальной – и дядина теория пойдет вся к черту. Обаяние и чад бальной сферы, гром музыки, обнаженные плечи, огонь взоров, улыбка розовых уст не дадут ему уснуть целую ночь. Ему мерещится то талия, которой он касался руками, то томный, продолжительный взор, который бросили ему, уезжая, то горячее дыхание, от которого он таял в вальсе, или разговор вполголоса у окна, под рев мазурки, когда взоры так искрились, язык говорил Бог знает что. И сердце его билось; он с судорожным трепетом обнимал подушку и долго ворочался с боку на бок.

«Где же любовь? О, любви, любви жажду! – говорил он, – и скоро ли придет она? когда настанут эти дивные минуты, эти сладостные страдания, трепет блаженства, слезы...» и проч.

На другой день он являлся к дяде.

– Какой, дядюшка, вчера был вечер у Зарайских! – говорил он, погружаясь в воспоминания о бале.

– Хорош?

– О, дивный!

– Порядочный ужин был?

– Я не ужинал.

– Как так? В твои лета не ужинать, когда можно! Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь к здешнему порядку, даже уж слишком. Что ж, там все прилично было? туалет, освещение...

– Да-с.

– И народ порядочный?

– О да! очень порядочный. Какие глаза, плечи!

– Плечи? у кого?

– Ведь вы про них спрашиваете?

– Про кого?

– Да про девиц.

– Нет, я не спрашивал про них; но все равно – много было хорошеньких?

– О, очень... но жаль, что все они очень однообразны. Что одна скажет и сделает в таком-то случае, смотришь – то же повторит и другая, как будто затверженный урок. Была одна... не совсем похожа на других... а то не видно ни самостоятельности, ни характера. И движения, и взгляды – все одинаково: не услышишь самородной мысли, ни проблеска чувства... все покрыл и закрасил одинаковый лоск. Ничто, кажется, не вызовет их наружу.

---

<sup>8</sup> Ни тепло, ни холодно (*фр.*).

И неужели это век будет заперто и не обнаружится ни перед кем? Ужели корсет вечно будет подавлять и вздох любви и вопль растерзанного сердца? неужели не даст простора чувству?..

— Перед мужем все обнаружится, а то, если рассуждать по-твоему, вслух, так, пожалуй, многие и век в девках просидят. Есть дуры, что прежде времени обнаруживают то, что следовало бы прятать да подавлять, ну, зато после слезы да слезы: не расчет!

— И тут расчет, дядюшка?..

— Как и везде, мой милый; а кто не рассчитывает, того называют по-русски безрасчетным, дураком. Коротко и ясно.

— Удерживать в груди своей благородный порыв чувства!..

— О, я знаю, ты не станешь удерживать; ты готов на улице, в театре броситься на шею приятелю и зарыдать.

— Так что же, дядюшка? Сказали бы только, что это человек с сильными чувствами, что кто чувствует так, тот способен ко всему прекрасному и благородному и не способен...

— Не способен рассчитывать, то есть размышлять. Велика фигура — человек с сильными чувствами, с огромными страстями! Мало ли какие есть темпераменты? Восторги, экзальтация: тут человек всего менее похож на человека, и хвастаться нечем. Надо спросить, умеет ли он управлять чувствами; если умеет, то и человек...

— По-вашему, и чувством надо управлять, как паром, — заметил Александр, — то выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть...

— Да, этот клапан не даром природа дала человеку — это рассудок, а ты вот не всегда им пользуешься — жаль! а малый порядочный!

— Нет, дядюшка, грустно слушать вас! лучше познакомьте меня с этой приезжей барыней...

— С которой? с Любецкой? Она была вчера?

— Была, долго говорила со мной о вас, спрашивала о своем деле.

— Ах, да! кстати...

Дядя вынул из ящика бумагу.

— Отвези ей эту бумагу, скажи, что вчера только, и то насилу, выдали из палаты; объясни ей хорошенько дело: ведь ты слышал, как мы с чиновником говорили?

— Да, знаю, знаю, уж я объясню. Александр обеими руками схватил бумагу и спрятал в карман. Петр Иванович посмотрел на него.

— Да что же тебе вздумалось познакомиться с нею? Она, кажется, неинтересна: с бородавкой у носа.

— С бородавкой? Не помню. Как это вы заметили, дядюшка?

— У носа да не заметить! Что ж тебе хочется к ней?

— Она такая добрая и почтенная...

— Как же это ты бородавки у носа не заметил, а уж узнал, что она добрая и почтенная? это странно. Да позволь... у ней ведь есть дочь — эта маленькая брюнетка. А! теперь не удивляюсь. Так вот отчего ты не заметил бородавки на носу!

Оба засмеялись.

— А я так удивляюсь, дядюшка, — сказал Александр, — что вы прежде заметили бородавку на носу, чем дочь.

— Поддай-ка назад бумагу. Ты там, пожалуй, выпустишь все чувство и совсем забудешь закрыть клапан, наделаешь вздору и черт знает что объяснишь...

— Нет, дядюшка, не наделаю. И бумаги, как хотите, не подам, я сейчас же...

И он скрылся из комнаты.

А дело до сих пор шло да шло своим чередом. В службе заметили способности Александра и дали ему порядочное место. Иван Иванович и ему с почтением начал подносить свою табакерку, предчувствуя, что он, подобно множеству других, послужив, как он говаривал,

без году неделю, обгонит его, сядет ему на шею и махнет в начальники отделения, а там, чего доброго, и в вице-директоры, как вот тот, или в директоры, как этот, а начинали свою служебную школу и тот и этот под его руководством. «А я работай за них!» – прибавил он. В редакции журнала Александр тоже сделался важным лицом. Он занимался и выбором, и переводом, и поправкою чужих статей, писал и сам разные теоретические взгляды о сельском хозяйстве. Денег у него, по его мнению, было больше, нежели сколько нужно, а по мнению дяди, еще недовольно. Но не всегда он работал для денег. Он не отказывался от отрадной мысли о другом, высшем призвании. Юношеских его сил ставало на все. Он крал время у сна, у службы и писал и стихи, и повести, и исторические очерки, и биографии. Дядя уж не обклеивал перегородок его сочинениями, а читал их молча, потом посвистывал или говорил: «Да! это лучше прежнего». Несколько статей явилось под чужим именем. Александр с радостным трепетом прислушивался к одобрителю суду друзей, которых у него было множество и на службе, и по кондитерским, и в частных домах. Исполнялась его лучшая, после любви, мечта. Будущность обещала ему много блеску, торжества; его, казалось, ожидал не совсем обыкновенный жребий, как вдруг...

Мелькнуло несколько месяцев. Александра стало почти нигде не видно, как будто он пропал. Дядю он посещал реже. Тот приписывал это его занятиям и не мешал ему. Но редактор журнала однажды, при встрече с Петром Ивановичем, жаловался, что Александр задерживает статьи. Дядя обещал, при первом случае, объясниться с племянником. Случай представился дня через три. Александр вбежал утром к дяде как сумасшедший. В его походке и движениях видна была радостная суетливость.

– Здравствуйте, дядюшка; ах, как я рад, что вас вижу! – сказал он и хотел обнять его, но тот успел уйти за стол.

– Здравствуй, Александр! Что это тебя давно не видно?

– Я... занят был, дядюшка: делал извлечения из немецких экономистов...

– А! что ж редактор лжет? Он третьего дня сказал мне, что ты ничего не делаешь – прямой журналист! Я ж его, при встрече, отделаю...

– Нет, вы ему ничего не говорите, – перебил Александр, – я ему еще не посылал своей работы, оттого он так и сказал...

– Да что с тобой? у тебя такое праздничное лицо! Ассессора, что ли, тебе дали или крест? Александр мотал головой.

– Ну, деньги?

– Нет.

– Так что ж ты таким полководцем смотришь? Если нет, так не мешай мне, а вот лучше сядь да напиши в Москву, к купцу Дубасову, о скорейшей высылке остальных денег. Прочти его письмо: где оно? вот.

Оба замолчали и начали писать.

– Кончил! – сказал Александр через несколько минут.

– Проворно: молодец! Покажи-ка. Что это? Ты ко мне пишешь. «Милостивый государь Петр Иванович!» Его зовут Тимофей Никоныч. Как пятьсот двадцать рублей! пять тысяч двести! Что с тобой, Александр?

Петр Иванович положил перо и поглядел на племянника. Тот покраснел.

– Вы ничего не замечаете в моем лице? – спросил он.

– Что-то глуповато... Постой-ка... Ты влюблен? – сказал Петр Иванович.

Александр молчал.

– Так, что ли? угадал?

Александр с торжественной улыбкой, с сияющим взглядом кивнул утвердительно головой.

– Так и есть! Как это я сразу не догадался? Так вот отчего ты стал лениться, от этого и не видать тебя нигде. А Зарайские и Скачины пристают ко мне: где да где Александр Федорыч? он вон где – на седьмом небе!

Петр Иванович стал опять писать.

– В Наденьку Любецкую! – сказал Александр.

– Я не спрашивал, – отвечал дядя, – в кого бы ни было – всё одна дурь. В какую Любецкую? это что с бородавкой?

– Э! дядюшка! – с досадой перебил Александр, – бородавка?

– У самого носа. Ты все еще не разглядел?

– Вы все смешиваете. Это, кажется, у матери есть бородавка около носа.

– Ну, все равно.

– Все равно! Наденька! этот ангел! неужели вы не заметили ее? Видеть однажды – и не заметить!

– Да что ж в ней особенного? Чего ж тут замечать? ведь бородавки, ты говоришь, у ней нет?..

– Далась вам эта бородавка! Не грешите, дядюшка: можно ли сказать, что она похожа на этих светских, чопорных марионеток? Вы рассмотрите ее лицо: какая тихая, глубокая дума покоится на нем! Это – не только чувствующая, это мыслящая девушка... глубокая натура...

Дядя принялся скрипеть пером по бумаге, а Александр продолжал:

– В разговоре у ней вы не услышите пошлых, общих мест. Каким светлым умом блещут ее суждения! что за огонь в чувствах! как глубоко понимает она жизнь! Вы своим взглядом отравляете ее, а Наденька мирит меня с нею.

Александр замолчал на минуту и погрузился совсем в мечту о Наденьке. Потом начал опять:

– А когда она поднимет глаза, вы сейчас увидите, какому пылкому и нежному сердцу служат они проводником! а голос, голос! что за мелодия, что за нега в нем! Но когда этот голос прозвучит признанием... нет выше блаженства на земле! Дядюшка! как прекрасна жизнь! счастлив!

У него выступили слезы; он бросился и с размаху обнял дядю.

– Александр! – вскричал, вскочив с места, Петр Иванович, – закрой скорей свой клапан – весь пар выпустил! Ты сумасшедший! смотри, что ты наделал! в одну секунду ровно две глупости: перемял прическу и закапал письмо. Я думал, ты совсем отстал от своих привычек. Давно ты не был таким. Посмотри, посмотри, ради Бога, на себя в зеркало: ну, может ли быть глупее физиономия? а неглуп!

– Ха, ха, ха! я счастлив, дядюшка!

– Это заметно!

– Не правда ли? в моем взоре, я знаю, блещет гордость. Я гляжу на толпу, как могут глядеть только герой, поэт и влюбленный, счастливый взаимною любовью...

– И как сумасшедшие смотрят или еще хуже... Ну, что я теперь стану делать с письмом?

– Позвольте, я соскоблю – и незаметно будет, – сказал Александр. Он бросился к столу с тем же судорожным трепетом, начал скоблить, чистить, тереть и протер на письме скважину. Стол от трения зашатался и толкнул этажерку. На этажерке стоял бюстик, из итальянского алебаstra, Софокла или Эсхила. Почтенный трагик от сотрясения сначала раза три качнулся на зыбком пьедестале взад и вперед, потом свергнулся с этажерки и разбился вдребезги.

– Третья глупость, Александр! – сказал Петр Иванович, поднимая черепки, – а это пятьдесят рублей стоит.

– Я заплачу, дядюшка, о! я заплачу, но не проклиная моего порыва: он чист и благороден: я счастлив, счастлив! Боже! как хороша жизнь!

Дядя сморщился и покачал головой.

– Когда ты умнее будешь, Александр? Бог знает что говорит!

Он между тем с сокрушением смотрел на разбитый бюст.

– «Заплач#у! – сказал он, – заплач#у». Это будет четвертая глупость. Тебе, я вижу, хочется рассказать о своем счастье. Ну, нечего делать. Если уж дяди обречены принимать участие во всяком вздоре своих племянников, так и быть, я даю тебе четверть часа: сиди смирно, не сделай какой-нибудь пятой глупости и рассказывай, а потом, после этой новой глупости, уходи: мне некогда. Ну... ты счастлив... так что же? рассказывай же поскорее.

– Если и так, дядюшка, то эти вещи не рассказываются, – с скромной улыбкой заметил Александр.

– Я было приготовил тебя, а ты, я вижу, все-таки хочешь начать с обыкновенных прелюдий. Это значит, что рассказ продолжится целый час; мне некогда: почта не будет ждать. Постой, уж я лучше сам расскажу.

– Вы? вот забавно!

– Ну, слушай же, очень забавно! Ты вчера виделся с своей красавицей наедине...

– А вы почему знаете? – с жаром начал Александр, – вы подсылаете смотреть за мной?

– Как же, я содержу для тебя шпионов на жалованье. С чего ты взял, что я так забочусь о тебе? мне что за дело?

Эти слова сопровождались ледяным взглядом.

– Так почему же вы знаете? – спросил Александр, подходя к дяде.

– Сиди, сиди, ради Бога, и не подходи к столу, что-нибудь разобьешь. У тебя на лице все написано, я отсюда буду читать. Ну, у вас было объяснение, – сказал он.

Александр покраснел и молчал. Видно, что дядя опять попал.

– Вы оба, как водится, были очень глупы, – говорил Петр Иванович.

Племянник сделал нетерпеливое движение.

– Дело началось с пустяков, когда вы остались одни, с какого-нибудь узора, – продолжал дядя, – ты спросил, кому она вышивает? она отвечала «маменьке или тетеньке» или что-нибудь подобное, а сами вы дрожали как в лихорадке...

– А вот нет, дядюшка, не угадали: не с узора; мы были в саду... – проговорился Александр и замолчал.

– Ну, с цветка, что ли, – сказал Петр Иванович, – может быть, еще с желтого, все равно; тут что попадется в глаза, лишь бы начать разговор; так-то слова с языка нейдут. Ты спросил, нравится ли ей цветок; она отвечала *да* – почему, дескать? «Так», – сказала она, и замолчали оба, потому что хотели сказать совсем другое, и разговор не вязался. Потом взглянули друг на друга, улыбнулись и покраснели.

– Ах, дядюшка, дядюшка, что вы!.. – говорил Александр в сильном смущении.

– Потом, – продолжал неумолимый дядя, – ты начал стороной говорить о том, что вот-де перед тобой открылся новый мир. Она вдруг взглянула на тебя, как будто слушает неожиданную новость; ты, я думаю, стал втупик, растерялся, потом опять чуть внятно сказал, что только теперь ты узнал цену жизни, что и прежде ты видал ее... как ее? Марья, что ли?

– Наденька.

– Но видал как будто во сне, предчувствовал встречу с ней, что вас свела симпатия и что, дескать, теперь ты посвятишь ей одной все стихи и прозу... А руками-то, я думаю, как работал! верно, опрокинул или разбил что-нибудь.

– Дядюшка! вы подслушали нас! – вскричал вне себя Александр.

– Да, я там за кустом сидел. Мне ведь только и дела, что бегать за тобой да подслушивать всякий вздор.

– Почему же вы все это знаете? – спросил с недоумением Александр.

– Мудрено! с Адама и Евы одна и та же история у всех, с маленькими вариантами. Узнай характер действующих лиц, узнаешь и варианты. Это удивляет тебя, а еще писатель!

Вот теперь и будешь прыгать и скакать дня три, как помешанный, вешаться всем на шею – только, ради Бога, не мне. Я тебе советовал бы запереться на это время в своей комнате, выпустить там весь этот пар и проделать все проделки с Евсеем, чтобы никто не видал. Потом немного одумаешься, будешь добиваться уж другого, поцелуя например...

– Поцелуй Наденьки! о, какая высокая, небесная награда! – почти заревел Александр.

– Небесная!

– Что же – материальная, земная, по-вашему?

– Без сомнения, действие электричества; влюбленные – все равно что две лейденские банки: оба сильно заряжены; поцелуями электричество разрешается, и когда разрешится совсем – прости, любовь, следует охлаждение...

– Дядюшка...

– Да! а ты думал как?

– Какой взгляд! какие понятия!

– Да, я забыл: у тебя еще будут фигурировать «вещественные знаки». Опять нанесешь всякой дряни и будешь задумываться да разглядывать, а дело в сторону.

Александр вдруг схватился за карман.

– Что, уж есть? будешь делать все то же, что люди делают с сотворения мира.

– Стало быть, то же, что и вы делали, дядюшка?

– Да, только поглупее.

– Поглупее! Не называете ли вы глупостью то, что я буду любить глубже, сильнее вас, не издеваться над чувством, не шутить и не играть им холодно, как вы... и не сдерживать покрывала с священных тайн...

– Ты будешь любить, как и другие, ни глубже, ни сильнее; будешь также сдерживать и покрывало с тайн... но только ты будешь верить в вечность и неизменность любви, да об одном этом и думать, а вот это-то и глупо: сам себе готовишь горя более, нежели сколько бы его должно быть.

– О, это ужасно, ужасно, что вы говорите, дядюшка! Сколько раз я давал себе слово таить перед вами то, что происходит в сердце.

– Зачем же не сдержал? Вот пришел – помешал мне...

– Но ведь вы одни у меня, дядюшка, близкие: с кем же мне разделить этот избыток чувств? а вы без милосердия вонзаете свой анатомический нож в самые тайные изгибы моего сердца.

– Я это не для своего удовольствия делаю; ты сам просил моих советов. От скольких глупостей я остерег тебя!..

– Нет, дядюшка, пусть же я буду вечно глуп в ваших глазах, но я не могу существовать с такими понятиями о жизни, о людях. Это больно, грустно! тогда мне не надо жизни, я не хочу ее при таких условиях – слышите ли? я не хочу.

– Слышу; да что ж мне делать? ведь не могу же я тебя лишить ее.

– Да! – говорил Александр, – вопреки вашим предсказаниям я буду счастлив, буду любить вечно и однажды.

– Ох, нет! Я предчувствую, что ты еще много кое-чего перебьешь у меня. Но это бы все ничего: любовь любовью; никто не мешает тебе; не нами заведено заниматься особенно прилежно любовью в твои лета, но, однако ж, не до такой степени, чтобы бросать дело; любовь любовью, а дело делом...

– Да я делаю извлечения из немецких...

– Полно, никаких ты извлечений не делаешь, предаешься только сладостной неге, а редактор откажет тебе...

– Пусть его! я не нуждаюсь. Могу ли я думать теперь о презренной пользе, когда...

– *О презренной пользе!* презренная! Ты уж лучше построй в горах хижину, ешь хлеб с водой и пей:

Мне хижина убога  
С тобою будет рай... —

но только как не станет у тебя «презренного металла», у меня не проси – не дам...

– Я, кажется, не часто беспокоил вас.

– До сих пор, слава Богу, нет, а может случиться, если бросишь дело; любовь тоже требует денег; тут и лишнее щегольство и разные другие траты... Ох, эта мне любовь в двадцать лет! вот уж презренная так презренная, никуда не годится!

– Какая же, дядюшка, годится? в сорок?

– Я не знаю, какова любовь в сорок лет, а в тридцать девять...

– Как ваша?

– Пожалуй, как моя.

– То есть никакая.

– Ты почему знаешь?

– Будто вы можете любить?

– Почему же нет? разве я не человек или разве мне восемьдесят лет? Только если я люблю, то люблю разумно, помню себя, не бью и не опрокидываю ничего.

– Разумная любовь! хороша любовь, которая помнит себя! – насмешливо заметил Александр, – которая ни на минуту не забудется...

– Дикая, животная, – перебил Петр Иванович, – не помнит, а разумная должна помнить; в противном случае это не любовь...

– А что же?..

– Так, гнусность, как ты говоришь.

– Вы... любите! – говорил Александр, глядя недоверчиво на дядю, – ха, ха, ха!

Петр Иванович молча писал.

– Кого же, дядюшка? – спросил Александр.

– Тебе хочется знать?

– Хотелось бы.

– Свою невесту.

– Не... невесту! – едва выговорил Александр, вскочив с места и подходя к дяде.

– Не близко, не близко, Александр, закрой клапан! – заговорил Петр Иванович, увидя, какие большие глаза сделал племянник, и проворно придвинул к себе разные мелкие вещицы, бюстики, фигурки, часы и чернильницу.

– Стало быть, вы женитесь? – спросил Александр с тем же изумлением.

– Стало быть.

– И вы так покойны! пишете в Москву письма, разговариваете о посторонних предметах, ездите на завод и еще так адски холодно рассуждаете о любви!

– Адски холодно – это ново! в аду, говорят, жарко. Да что ты на меня смотришь так дико?

– Вы – женитесь!

– Что ж тут удивительного? – спросил Петр Иванович, положив перо.

– Как что? женитесь – и ни слова мне!

– Извини, я забыл попросить у тебя позволения.

– Не просить позволения, дядюшка, а надо же мне знать. Родной дядя женится, а я ничего не знаю, мне и не сказали!..

– Вот ведь сказал.

- Сказали, потому что кстати пришлось.
- Я стараюсь, по возможности, все делать кстати.
- Нет, чтобы первому мне сообщить вашу радость: вы знаете, как я люблю вас и как разделю...
- Я вообще избегаю дележа, а в женитьбе и подавно.
- Знаете что, дядюшка? – сказал Александр с живостью, – может быть... нет, не могу таиться перед вами... Я не таков, все выскажу...
- Ох, Александр, некогда мне; если новая история, так нельзя ли завтра?
- Я хочу только сказать, что, может быть... и я близок к тому же счастью...
- Что? – спросил Петр Иванович, слегка наострив уши, – это что-то любопытно...
- А! любопытно? так и я помучаю вас: не скажу. Петр Иванович равнодушно взял пакет, вложил туда письмо и начал запечатывать.
- И я, может быть, женюсь! – сказал Александр на ухо дяде.
- Петр Иванович не допечатал письма и поглядел на него очень серьезно.
- Закрой клапан, Александр! – сказал он.
- Шутите, шутите, дядюшка, а я говорю не шутя. Попрошу у маменьки позволения.
- Тебе жениться!
- А что же?
- В твои лета!
- Мне двадцать три года.
- Пора! В эти лета женятся только мужики, когда им нужна работница в доме.
- Но если я влюблен в девушку и есть возможность жениться, так, по-вашему, не нужно...
- Я тебе никак не советую жениться на женщине, в которую ты влюблен.
- Как, дядюшка? это новое; я никогда не слыхал.
- Мало ли ты чего не слыхал!
- Я думал все, что супружество без любви не должно быть.
- Супружество супружеством, а любовь любовью, – сказал Петр Иванович.
- Как же жениться... по расчету?
- С расчетом, а не по расчету. Только расчет этот должен состоять не в одних деньгах. Мужчина так создан, чтоб жить в обществе женщины; ты и станешь рассчитывать, как бы жениться, станешь искать, выбирать между женщинами...
- Искать, выбирать! – с изумлением сказал Александр.
- Да, выбирать. Поэтому-то и не советую жениться, когда влюбишься. Ведь любовь пройдет – это уж пошлая истина.
- Это самая грубая ложь и клевета.
- Ну, теперь тебя не убедишь; увидишь сам со временем, а теперь запомни мои слова только: любовь пройдет, повторяю я, и тогда женщина, которая казалась тебе идеалом совершенства, может быть, покажется очень несовершенною, а делать будет нечего. Любовь заслонит от тебя недостаток качеств, нужных для жены. Тогда как, выбирая, ты хладнокровно рассудишь, имеет ли такая-то или такая женщина качества, какие хочешь видеть в жене: вот в чем главный расчет. И если отыщешь такую женщину, она непременно должна нравиться тебе постоянно, потому что отвечает твоим желаниям. Из этого возникнут между ею и тобою близкие отношения, которые потом образуют...
- Любовь? – спросил Александр.
- Да... привычку.
- Жениться без увлечения, без поэзии любви, без страсти, рассуждать, как и зачем!!
- А ты женился бы, не рассуждая и не спрашивая себя: зачем? так точно, как, поехавши сюда, тоже не спросил себя: зачем?

– Так вы женитесь по расчету? – спросил Александр.

– С расчетом, – заметил Петр Иванович.

– Это все равно.

– Нет, по расчету значит жениться для денег – это низко; но жениться без расчета – это глупо!.., а тебе теперь вовсе не следует жениться.

– Когда же жениться? Когда состареюсь? Зачем я буду следовать нелепым примерам.

– В том числе и моему? спасибо!

– Я не про вас говорю, дядюшка, а про всех вообще. Услышишь о свадьбе, пойдешь посмотреть – и что же? видишь прекрасное, нежное существо, почти ребенка, которое ожидало только волшебного прикосновения любви, чтобы развернуться в пышный цветок, и вдруг ее отрывают от кукол, от няни, от детских игр, от танцев, и слава Богу, если только от этого; а часто не заглянут в ее сердце, которое, может быть, не принадлежит уже ей. Ее одевают в газ, в блонды, убирают цветами и, несмотря на слезы, на бледность, влекут, как жертву, и ставят – подле кого же? подле пожилого человека, по большей части некрасивого, который уж утратил блеск молодости. Он или бросает на нее взоры оскорбительных желаний, или холодно осматривает ее с головы до ног, а сам думает, кажется:

«Хороша ты, да, чай, с блажью в голове: любовь да розы, – я уйму эту дурь, это – глупости! у меня полно вздыхать да мечтать, а веди себя пристойно», или еще хуже – мечтает об ее имении. Самому молодому мало-мало тридцать лет. Он часто с лысиною, правда с крестом, или иногда со звездой. И говорят ей: «Вот кому обречены все сокровища твоей юности, ему и первое биение сердца, и признание, и взгляды, и речи, и девственные ласки, и вся жизнь». А кругом толпой теснятся те, кто, по молодости и красоте, под пару ей и кому бы надо было стать рядом с невестой. Они пожирают взглядами бедную жертву и как будто говорят: «Вот, когда мы истощим свежесть, здоровье, оплешивеем, и мы женимся, и нам достанется такой же пышный цветок...» Ужасно!..

– Дико, нехорошо, Александр! пишешь ты уж два года, – сказал Петр Иванович, – и о наземе, и о картофеле, и о других серьезных предметах, где стиль строгий, сжатый, а все еще дико говоришь. Ради Бога, не предавайся экстазу, или по крайней мере как эта дурь найдет на тебя, так уж молчи, дай ей пройти, путного ничего не скажешь и не сделаешь: выйдет непременно нелепость.

– Как, дядюшка, а разве не в экстазе родится мысль поэта?

– Я не знаю, как она родится, а знаю, что выходит совсем готовая из головы, то есть когда обрабатывается размышлением: тогда только она и хороша. Ну, а по-твоему, – начал, помолчав, Петр Иванович, – за кого же бы выдавать эти прекрасные существа?

– За тех, кого они любят, кто еще не утратил блеска юношеской красоты, в ком и в голове и в сердце – всюду заметно присутствие жизни, в глазах не угас еще блеск, на щеках не остыл румянец, не пропала свежесть – признаки здоровья; кто бы не истощенной рукой повел по пути жизни прекрасную подругу, а принес бы ей в дар сердце, полное любви к ней, способное понять и разделить ее чувства, когда права природы...

– Довольно! то есть за таких молодцов, как ты. Если б мы жили *среди полей и лесов дремучих* – так, а то жени вот такого молодца, как ты, – много будет проку! в первый год с ума сойдет, а там и пойдет заглядывать за кулисы или даст в соперницы жене ее же горничную, потому что права-то природы, о которых ты толкуешь, требуют перемены, новостей – славный порядок! а там и жена, заметив мужнины проказы, полюбит вдруг каски, наряды да маскарады и сделает тебе того... а без состояния так еще хуже! есть, говорит, нечего!

Петр Иванович сделал кислую мину.

– «Я, говорит, женат, – продолжал он, – у меня, говорит, уж трое детей, помогите, не могу прокормиться, я беден...» беден, какая мерзость! нет, я надеюсь, что ты не попадешь ни в ту, ни в другую категорию.

– Я попаду в категорию счастливых мужей, дядюшка, а Наденька – счастливых жен. Не хочу жениться, как женится большая часть: наладили одну песню: «Молодость прошла, одиночество наскучило, так надо жениться!» Я не таков!

– Бредишь, милый.

– Да почему вы знаете?

– Потому что ты такой же человек, как другие, а других я давно знаю. Ну, скажи-ка ты, зачем женишься?

– Как зачем: Наденька – жена моя! – воскликнул Александр, закрыв лицо руками.

– Ну, что? видишь – и сам не знаешь.

– У! дух замирает от одной мысли. Вы не знаете, как я люблю ее, дядюшка! я люблю, как никогда никто не любил: всеми силами души – ей всё...

– Лучше бы ты, Александр, выбрал или, уж так и быть, обнял меня, чем повторять эту глупейшую фразу! Как это у тебя язык поворотился? «как никогда никто не любил»!

Петр Иванович пожал плечами.

– Что ж, разве это не может быть?

– Впрочем, точно, глядя на твою любовь, я думаю, что это даже возможно: глупее любить нельзя!

– Но она говорит, что надо ждать год, что мы молоды, должны испытать себя... целый год... и тогда...

– Год! а! давно бы ты сказал! – перебил Петр Иванович, – это она предложила? Какая же она умница! Сколько ей лет?

– Восемнадцать.

– А тебе – двадцать три: ну, брат, она в двадцать три раза умнее тебя. Она, как я вижу, понимает дело: с тобою она пошалит, пококетничает, время проведет весело, а там... есть между этими девчонками преумные! Ну, так ты не женишься. Я думал, ты хочешь это как-нибудь поскорее повернуть, да тайком. В твои лета эти глупости так проворно делаются, что не успеешь и помешать; а то через год! до тех пор она еще надует тебя...

– Она – надует, кокетничает! девчонка! она, Наденька! фи, дядюшка! С кем вы жили всю жизнь, с кем имели дела, кого любили, если у вас такие черные подозрения?..

– Жил с людьми, любил женщину.

– Она обманет! Этот ангел, эта олицетворенная искренность, женщина, какую, кажется, Бог впервые создал во всей чистоте и блеске...

– А все-таки женщина, и, вероятно, обманет.

– Вы после этого скажете, что и я надую?

– Со временем – да, и ты.

– Я! про тех, кого вы не знаете, вы можете заключать что угодно; но меня – не грех ли вам подозревать в такой гнусности? Кто же я в ваших глазах?

– Человек.

– Не все одинаковы. Знайте же, что я, не шутя, искренно дал ей обещание любить всю жизнь; я готов подтвердить это клятвой...

– Знаю, знаю! Порядочный человек не сомневается в искренности клятвы, когда дает ее женщине, а потом изменит или охладет, и сам не знает как. Это делается не с намерением, и тут никакой гнусности нет, некого винить: природа вечно любить не позволила. И верующие в вечную и неизменную любовь делают то же самое, что и неверующие, только не замечают или не хотят сознаться; мы, дескать, выше этого, не люди, а ангелы – глупость!

– Как же есть любовники-супруги, которые вечно любят друг друга и всю жизнь живут?..

– Вечно! кто две недели любит, того называют ветреником, а два, три года – так уж и вечно! Разбери-ка, как любовь создана, и сам увидишь, что она не вечна! Живость, пылкость

и лихорадочность этого чувства не дают ему быть продолжительным. Любовники-супруги живут всю жизнь вместе – правда! да разве любят всю жизнь друг друга? будто их всегда связывает первоначальная любовь? будто они ежеминутно ищут друг друга, глядят и не наглядятся? Куда под конец денутся мелочные угождения, беспрестанная внимательность, жажда быть вместе, слезы, восторги – все эти вздоры? Холодность и неповоротливость мужей вошла в пословицу. «Их любовь обращается в дружбу!» – говорят все важно: так вот уж и не любовь! Дружбу! А что это за дружба? Мужа с женой связывают общие интересы, обстоятельства, одна судьба, – вот и живут вместе; а нет этого, так и расходятся, любят других, – иной прежде, другой после: это называется изменой!.. А живучи вместе, живут потом привычкой, которая, скажу тебе на ухо, сильнее всякой любви: недаром называют ее второй натурой; иначе бы люди не перестали терзаться всю жизнь в разлуке или по смерти любимого предмета, а ведь утешаются. А то наладили: вечно, вечно!., не разберут, да и кричат.

– Как же вы, дядюшка, не опасаетесь за себя? Стало быть, и ваша невеста... извините... надует вас?..

– Не думаю.

– Какое самолюбие!

– Это не самолюбие, а расчет.

– Опять расчет!

– Ну, размышление, если хочешь.

– А если она влюбится в кого-нибудь?

– До этого не надо допускать; а если б и случился такой грех, так можно поискуснее расхолодить.

– Будто это можно? разве в вашей власти...

– Весьма.

– Этак бы делали все обманутые мужья, – сказал Александр, – если б был способ...

– Не все мужья одинаковы, мой милый: одни очень равнодушны к своим женам, не обращают внимания на то, что делается вокруг них, и не хотят заметить; другие из самолюбия и хотели бы, да плохи: не умеют взяться за дело.

– Как же вы сделаете?

– Это мой секрет; тебе не втолкуешь: ты в горячке.

– Я счастлив теперь и благодарю Бога; а о том, что будет впереди, и знать не хочу.

– Первая половина твоей фразы так умна, что хоть бы не влюбленному ее сказать: она показывает умение пользоваться настоящим; а вторая, извини, никуда не годится. «Не хочу знать, что будет впереди», то есть не хочу думать о том, что было вчера и что есть сегодня; не стану ни соображать, ни размышлять, не приготовлюсь к тому, не остерегусь этого, так, куда ветер подует! Помилуй, на что это похоже?

– А по-вашему, как же, дядюшка? Настанет миг блаженства, надо взять увеличительное стекло, да и рассматривать...

– Нет, уменьшительное, чтоб с радости не одуреть вдруг, не вешаться всем на шею.

– Или придет минута грусти, – продолжал Александр, – так ее рассматривать в ваше уменьшительное стекло?

– Нет, грусть в увеличительное: легче перенести, когда вообразишь неприятность вдвое больше, нежели она есть.

– Зачем же, – продолжал Александр с досадой, – я буду убивать вначале всякую радость холодным размышлением, не упившись ею, думать: вот она изменит, пройдет? зачем буду терзаться заранее горем, когда оно не настало?

– А зато, когда настанет, – перебил дядя, – так подумаешь – и горе пройдет, как проходило тогда-то и тогда-то, и со мной, и с тем, и с другим. Надеюсь, это не дурно и стоит

обратить на это внимание; тогда и терзаться не станешь, когда разглядишь переменчивость всех шансов в жизни; будешь хладнокровен и покоен, сколько может быть покоен человек.

– Так вот где тайна вашего спокойствия! – задумчиво сказал Александр.

Петр Иванович молчал и писал.

– Но что ж за жизнь! – начал Александр, – не забыться, а все думать, думать... нет, я чувствую, что это не так. Я хочу жить без вашего холодного анализа, не думая о том, ожидает ли меня впереди беда, опасность или нет – все равно!.. Зачем я буду думать заранее и отравлять...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.